

ISSN 0132-8158

# Начала

3  
1992



РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ  
ЖУРНАЛ

# НАЧАЛА

№ 3

МОСКВА ● 1992

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

Н. В. Скоробогатько (главный редактор)  
А. Т. Казарян (зам. главного редактора)  
В. Г. Аладьин  
Л. Е. Моторина  
М. Хагемейстер (Германия)

**НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ:**

А. Т. Казарян, А. Н. Николюкин, Н. В. Скоробогатько,  
В. Г. Сукач

**ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:**

450-16-97  
124-52-87



*По вопросам приобретения  
и распространения журнала  
обращайтесь к нашим торговым  
уполномоченным:  
в Москве — к Желяскову Максиму  
(тел. 447-71-59),  
в других городах — к Ожиговой Л. И.  
(109507, Москва, Ферганская, 28/7,  
41), тел. (095) 376-42-70*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПУБЛИКАЦИИ

- А. Н. НИКОЛЮКИН.* Неизданная книга В. В. Розанова (Вступительная статья) . . . . . 4  
*В. В. РОЗАНОВ.* Мимолетное. 1915 год (Публикуется впервые. Текст подготовлен А. Н. Николюкиным) . . . . . 7

### ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ В. В. РОЗАНОВА

- Н. П. БАРСУКОВУ* (Публикация В. Г. Сукача) . . . . . 39  
*А. С. ГЛИНКЕ* (Публикация В. Г. Сукача) . . . . . 42

### ВОСПОМИНАНИЯ О В. В. РОЗАНОВЕ

- С. Н. ДУРЫЛИН.* В. В. Розанов (Публикация В. А. Десятникова) . . . . . 45

### ИССЛЕДОВАНИЯ

- В. В. БИБИХИН.* К метафизике Другого . . . . . 52  
*А. А. ГРЯКАЛОВ.* Образ человека в философии В. В. Розанова . . . . . 66  
*Л. Ф. КАЦИС.* Из комментария к иудейским мотивам В. В. Розанова . . . . . 75

### ПЕРЕВОДЫ

- О. А. КАЗНИНА.* В. В. Розанов глазами Д. Г. Лоуренса . . . . . 79  
*Д. Г. ЛОУРЕНС.* «Уединенное» В. В. Розанова . . . . . 82  
*Д. Г. ЛОУРЕНС.* «Опавшие листья» В. В. Розанова . . . . . 86

### ХРОНИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- И. Л. БЕЛЕНЬКИЙ, И. Е. СЕРЕБРЯНАЯ.* Из биобиблиографии В. В. Розанова . . . . . 91  
*М. А. МАСЛИН.* Возрождение Розановского общества . . . . . 95



А. Н. НИКОЛЮКИН

## НЕИЗДАННАЯ КНИГА В. В. РОЗАНОВА

В русскую литературу и культуру Василий Васильевич Розанов вошел прежде всего своими книгами «Уединенное», «Опавшие листья» (два тома-короба), «Апокалипсис нашего времени», уже известными нашему читателю по перепечаткам последних лет. Это книги трудной судьбы: их кромсала царская цензура, не пропускала к читателю советская...

Три года — 1914, 1915 и 1916 — Розанов записывал свои мысли и чувства на отдельных листочках, так же, как он делал это при подготовке предыдущих книг, исполненных в его особом, розановском, жанре «опавших листьев». Однако этим листочкам не суждено было превратиться в книгу ни при жизни писателя, ни в течение долгих десятилетий идеологической одномерности.

Ныне впервые печатается расшифрованная часть рукописи этого последнего крупного сочинения Розанова — «Мимолетное. 1915 год».

Главная тема книги — Россия «в этот смутный год», как назвал Розанов год 1915, когда страна была на изломе перед падением в бездну революции и братоубийственной войны, развязанной революционерами. «Революция есть ненавидение. Только оно и везде оно»<sup>1</sup>, — это было сказано Розановым задолго до октябрьской катастрофы 1917 года.

Глубокая безнравственность содеянного и творимого в стране под лозунгами «свободы и равенства», «диктатуры пролетариата» и «советской власти» потрясла писателя. С 15 ноября 1917 года он начинает выпускать свой «Апокалипсис нашего времени» — первое открытое обвинение пришедших к власти большевиков в преступном захвате власти, терроре и предательстве национальных интересов России. Ту же мысль, но в стихотворной форме выразила тогда Зинаида Гиппиус, записавшая 9 ноября 1917 года:

Лежим, заплеваны и связаны,  
По всем углам.  
Плевки матросские размазаны  
У нас по лбам.

Они были первыми. «Окаянные дни» И. А. Бунина и его одесская лекция «Великий дурман», письма В. Г. Короленко к А. В. Луначарскому, «Слово о гибели Русской Земли» А. М. Ремизова, даже «Несвоевременные мысли» М. Горького — все это появится в печати потом, после розановского «Апокалипсиса».

В книге «Мимолетное», предвосхитившей позднейшие высказывания этих русских интеллигентов, застигнутых врасплох той самой революцией, которую они исподволь готовили, Розанов провел тончайший историко-философский и психологический анализ судеб России, характера русской революции и ее корней. Он видел, что еще со времен демократии «шестидесятников» к Храму

<sup>1</sup> Розанов В. В русских потемках//Новое время. 1910. 2 октября.

шла не та дорога, на которую вступила революционная Россия и которая завела в конце концов в общественно-политический тупик. «Зашли не в тот переулок» и никакого „дома“ не нашли», «вертайся назад»<sup>1</sup>.

Объявляя революцию «предательством», Розанов видел в ней измену человеческим интересам. Революция — это раскол, дробление, «две части», «мы и вы». А человечество — я. Субъект. Единое. Как Одно Небо и Один Бог.

Отношение к революции и революционерам определялось не только идейными позициями писателя, но и глубоко личными, «домашними» мотивами. Он вспоминает в «Мимолетном», как в его квартире был учинен обыск. Посещающие его падчерицу революционерки подбросили ей «революционное» письмо, чтобы спровоцировать писателя на протест против обыска в доме и тем самым поставить его перд на службу «разрушителям общества». Такова была прямая встреча Розанова с безнравственностью революционеров. Это навсегда запомнилось Василию Васильевичу — для вовлечения в «революционную борьбу» были пригодны все средства.

Большая часть «Мимолетного» писалась в Вырице, дачной местности под Петроградом, где Розанов проводил с семьей лето 1915 года. Там его одолевали тягчайшие раздумья о русском народе и надвигающейся революции. Боль за Россию, за то, что с ней сделают в ближайшем будущем — в каждой строке записей «Мимолетного». «Революция русская рассчитана была на «большую массу», — писал он. — Вообще восстает масса: и отчего ей не быть очень достойной. Физическая масса населения и есть достойная. Русский народ строил царство. Но революция, которая задумала «опрокинуть царство», — «разделять назад историю», «вперед» и вместе «назад», очевидно не могла опереться на созидательный физический народ, — и взято «большинство» не в физическом смысле, а в духовном. Оно поверило и начало воздействовать на то, что в народе есть наименее «прикрепленного к месту», — к сословию, к классу, к работе, должности, службе. Оно воспользовалось «бегенцами» отовсюду, *ex-pop*, *ex-студент*, *ex-чиновник*, *ex-профессор*, *ex-писатель*. Оно воспользовалось худшими элементами страны: и в этом «закале» и уже лежала и лежит ее гибель и вековечная неудача (запись 3 июня 1915 г.).

Вдали от столицы, в тихих лесах Вырицы думалось легко и свободно. Чистое виделось еще чище, гнусное — еще гаже. И того и другого было на Руси вдосталь. Больше всего Розанов не любил самодовольства и хвастовства. После одной из прогулок он записал: «Читайте «Подпольную Россию» (Степняк-Кравчинского): какое самодовольство, какая уверенность — «мы *одни делаем дело в России*», «России неоткуда ждать спасения, кроме как *от нас*», да и вообще «без нас пропадут *все люди*». Просто зачервится земля «без вас»... Не было бы варенья в России, если б не революция» (запись 16 июля 1915 г.).

Самовлюбленность, тупая вера в свою правоту и непогрешимость — «самая суть революции». Как-то Василий Васильевич прочитал в газете: «Представитель социал-демократической партии сделал заявление». И подумал: они не «говорят», не «произносят речи», как прочие, как все, а — «делают заявления». Прямо — архиерейская служба.

В революции люди теряют наслаждение сегодняшним днем, осязание действительности и живут «завтрашней радостью», которая становится для них стимулом жизни. Всех людей революция делает нереальными, теньями. Вводя в каждого человека пустоту относительно «сегодня», она, говорит Розанов, бесконечно «огорчила и сквасила» человека, «прокисла» целый век. Поистине открыла «огорченный век», век «огорченных людей». Глубоко несчастный век.

Все, решительно все разложилось на «процесс», на «происхождение» свое и грядущее «увенчание». Из-под ног людей «вырывалось» всякое основание, земля, на которой они стояли. Люди «повисли в воздухе», «паря воображением и мечтательностью, гипотезами и желаниями».

Жизнь народа и государства поколебалась через это вечное представление «процесса», через это вечное видение вещей в их текучести. Все стали воображать себя в «ходе». Если все «идет», то наверняка «куда-нибудь придет». Демократы «строят Россию до парламента», Маркс «строит Европу до социа-

<sup>1</sup> Розанов В. В. Уединенное. — М.: Политиздат, 1990. С. 114.

лизма», Дарвин «выстроил обезьяну до человека»... Это всех сдвинуло с места. Никто не стоит. Все бегают.

Между тем, размышляет Розанов, надо стоять. Небо должно быть голубым, воздух и земля чистыми. Природе надо просто «быть». Цель народа — не поганая «цель» переустройства общества. Само существо народа — пахать, да чтобы «урожай», да мир, да лад. Но историки интересовались тем, «как оно перешло в другое». И историки стали какие-то мелочные, «проходимцы»: все занимались «проходящим». Но, продолжает Розанов, «архитектуре явно надо *быть*, а не «переходить в другое». И Царству чего же скакать: ему надо *стоять*. Верить: да разве можно в религию «проходящую», в «Бога», который начался у австралийцев, продолжался у монголов, «стал велик в Индии», в «Браме» и «Будде» и «очень уменьшился» у нас, пока Цебрикова и Плеханов не определили, что «по-видимому ничего такого и никогда не было».

Презирая «революционное время» сегодня, Розанов верил в «бесконечно далекий день», в то, что «будет, будет заря». И как пророчество звучат ныне слова, записанные 16 июля 1915 года о революционерах, взрывающих русскую землю: еще продышет «синий человек» лет 40, пожалуй, все 85 и наконец — перевернется книзу лицом, последний раз «укусит землю», вздрогнет и вытянется. Как тяжело России.

Старый преступный принцип «убийство оправдывается высокими целями», примененный революционерами к России и ее народу («мы исправляем порочность мира чистотою целей революции»), был совершенно неприемлем для писателя-гуманиста. Начавшаяся революционная бойня не позволила тогда напечатать его записи, и они приходят к нам три четверти века спустя, в сроки, предустановленные автором для освобождения России от тирании «синего человека».

## МИМОЛЕТНОЕ. 1915 год

\* \* \*

22.I.1915

Карточного домика построить не умеют. Но зато надеются, верят и рвутся построить идеальное государство. И приговаривают, меланхолично глядя на небо с облачком: «взыскуем *Невидимого Града*». И такая игра на сердце, что «мы — самые лучшие».

(все «наши русские») (лежу больной в постели).

\* \* \*

12.III.1915

Петр вылетел гоголем на взморье, думал: корабли, торговля. Шумел. Печатал. Бил. Больно бил. «Вечно испугались».

Но до времени и, в частности, на минуту. На взморье Русь «уселась».

Никто, через 2 века, даже до Кронштадта не прогуляется. Я не видал ни одного за 20 л. петербуржца, который дотащился бы до «Нового порта» (я был): где так красиво корабли входят в Неву и из Невы пароходы шумят в море. Как красиво. Но в Петербурге петербуржцы находят красивым одно — Ресторацию.

Ну, прибавив по-европейскому электрические лампочки — из Берлина.

Вот-с... На Неве пароходики содержат чухны. И на маслянице катают нас тоже чухны. Зато:

— Мы ка-та-е-мся.

Разъелись и разлеглись

у хладных финских вод<sup>1</sup>

И по обыкновению начали писать стихи и влюбляться. «Это нашенское. Стихи хоть куда. Ну и любовь — ничего. А дело?

— Ча-во?

Делов толь, что «перенести столицу из Москвы» решительно невозможно. Ибо Москва у каждого из нас в брюхе сидит.

В брюхе и еще в кровати...

Да в баньке...

А уха с налимом. «Сама Москва».

Москва, конечно, перетащилась в Питер, уселась, заснула, и чуть пришло «Петру скончание»:

Ничего не вышло и ничего не могло выйти.

\* \* \*

13.III.1915

Вся русская литература написана не на русские темы.

\* \* \*

Представьте себе целую литературу, — романы, рассказы, — где все говорится, шепчется, «взвывается, поется и глаголется» — о бомбочках, о том, как они «следили за выездами высокопоставленного лица», а она, Эстерь, начинала «снаряды»... Оставим литературу и взглянем на это как на рекламу...

Ибо ведь литература — литературой, но ведь в ней *volens-nolens* для автора есть и сторона рекламная. «Читают, интересуются, говорят, обсуждают».

Скажите, как же не быть «революции» в России, — столь рекламированной? Так же невозможно, как не «быть торговле», о которой столько «объявлений».

(«Пыль» в «Рус. Мысли»)<sup>2</sup>.

О славянофильстве, о русской истории, о «складывании Государства камень за камнем»: то, Боже, за 50 лет об этом не написано столько, сколько пишется за 1 год о революции.

Кто же читал роман, где было бы выставлено главным действующим лицом славянофил? или — патриот? или — государственный человек?

Итак: революция —  $\frac{9}{10}$  и около нее  $\frac{1}{10}$  — Россия.

Россия? Что это такое? *Quantité negligible*<sup>3</sup>. А революция: «*l'état c'est moi*»<sup>4</sup>, как говаривал Людовик XIV.

Но люблю кварталину. Вот истинный демократ. Не смущаясь величием «Людвика», кричит осипло:

— Рожу размножу!!

Береги, миленький, стой, миленький. Ты — Народная Русь. И мы с тобой взнуздаем и Стасюлевича, и Желябова.

Тащи, родименький, его в участок. В клоповник его. Как на пожаре говорил (в Брянске)<sup>5</sup> один отставной полицейский: «Жаль, клопы во какие». И указал на персте  $\frac{1}{2}$  суставчика. Я даже вздрогнул.

Там и Соне Перовской, и «великой Вере» (Ф.)<sup>6</sup> найдется место.

\* \* \*

4.IV.1915

Любить, верить и *служить* России — вот программа.  
Пусть это будет Ломоносовский путь.

\* \* \*

*Суть* Мережковского в преувеличениях.  
Это делает его смешным и неумным.

(его речь перед Верхарном в Москве)<sup>7</sup>.

\* \* \*

13.IV.1915

Не только в Мережковском есть странная ирреальность, но и «мир его» как-то странно недействителен. Он вечно говорит о России и о Христе. Две темы. И странным образом ни Христа, ни России в его сочинениях нет.

Как будто он никогда не был в России...

И как будто он никогда не был крещен...

Удивительно. Удивительное явление. Я думаю, действительно «последнее несчастье».

Мордвинова<sup>8</sup> верно сказала (в письме ко мне): «Я думаю, Достоевский сказал бы Мережковскому, если б знал его, то же, что сказал Ставрогин Шатову: «*Извините, я вас не могу любить*». Конечно! Конечно! Достоевский весь боль за Россию: к которой Мережковский так нескончаемо равнодушен.

«Уж если что воняет, так это Россия». А Мережковский и «дурной запах» несовместимы.

Он, мне кажется, родился в скляночке с одеколоном. Не умею, совершенно не умею представить его себе делающим «естественное отправление». Кстати, я ни разу за много лет знакомства не видел, чтобы он плюнул или высморкался. 10 лет, — и ни разу не высморкался!!! Чудовищно.

И ни разу не закашлялся, не почесался.

Я уверен, у них не водится в квартире клопов. Клопы умирают, как только Мережковский «переехал в квартиру».

\* \* \*

14.IV.1915

Был «процесс 143-х»<sup>9</sup> (сколько тщеславия в названии!!!): кроме, кажется, 20-ти, «123 вышли по суду оправданными».

Что «оправданы» было основательным, видно из того, что из «120-ти» вышли все убийцы 1-го марта. Но это «новый суд», — «для всех равный, скорый и праведный», — не оглянулся в своей «истерии». Впрочем, «дурак» вообще никогда не «перекрестится».

Я забыл свою тему.

Так вот, даже и задевая кой-кого «невинного», следовало «сделать что следовало» и с остальными 120-тью.

И Россия не была бы потрясена и не покачнулась бы от 6—8 тщеславных воюющих убийц.

«Железо» нужно не *post hoc*, а *ante hoc*<sup>10</sup>. Все запоздалое и есть запоздалое.

\* \* \*

20.IV.1915

Мне не нужно «знакомых читателей»...

И не нужно «друга-читателя» (Щедрин)<sup>11</sup>.

Не нужно единомышленных, «с такими же взглядами». У меня с каждой зорькой «новые взгляды».

Не х а - ч у. П р а - т и - в н о.

Мне нужен родной читатель. Чтобы он мне был родной. Единокожный, единокровный.

Чтобы мне с ним потереться спиной о спину и спросить:

— Ну, понимаешь?

— Гм... Да!

— Ну, понимаешь, что нет политики?

Пощекотал мне пальцами за спиной.

— И что «идеи» вообще неинтересны?

Пожал руку в локте.

— Ну?

— Ну, конечно... А нужны зорьки росистые. Нужна любовь. Дружба, верность. Плакать о друге нужно — если расстроен, если согрешил, если на меня рассердился. Впрочем, «в новом царстве не сердятся». Звездочка упала на землю — душа сошла на землю — еще человек родился.

И Небо — Бог.

\* \* \*

25.IV.1915

Мережковский подумал бы, где больше «общественности», написать ли том о русских училищах и два тома о русской семье или сделать позу, что «я ожидаю от правительства конституции», и объявить Тютчева ретроградом, а Некрасова вождем общества?<sup>12</sup>

Но, поистине:

К стене примкнуто,  
Быв пальцем ткнуто,  
Звучит прелестно.

Этот гекзаметр Тредьяковского описывает не только старинные клавикуорды, но и Дмитрия Сергеевича.

Бедный мой друг, бедный мой друг.



Некрасов и Тютчев вытаскиваются единственно потому, что Дм. Сер-чу нужно писать еще томы и томы, писать всю жизнь, — но не потому, чтобы Мережковский заболел о них или Россия заболела о них. «Никто ничем не болен», но Мережковскому нужно писать.

Пиши, мой друг, старайся, — своим классически красивым почерком.

В этот красивый почерк вся вселенная уложится. Если «Паркам» не покажется все это наконец скучным.

Да. Я думаю, что хороша жизнь. Но я думаю, что иногда хороша и смерть. Как его там:

Не пылит дорога

. . . . .

\* \* \*

25.IV.1915

Суворин не только не был смущен, что к нему «не пришли», но и не обратил никакого внимания. Накануне и 3-го дня — я увидел его в ночи бродящим в халате по коридору, где уставлены в шкафах «комплекты» (Нов. Вр.) и старые журналы, начиная от «Современника». Помню, он так весело рассмеялся, встретив меня в одном из «переходов» этих нескончаемых редакционных складов. У него бывала эта улыбка (совершенно молодая, юная, светлая и невинная. Я ее знал и любил. Мы всегда с ним болтали «черт знает о чем», без всякой цели и направления. Кое-что в нем и во мне было схоже (этого ему и на ум не приходило): и вот я думаю, это «инженерное трудолюбие», и «я люблю мой сад». У него «сад» — театр, актрисы, шумы; у меня — «античные монеты». Он раз заехал ко мне в автомобиле (наконец-то ему купили), и я навязал ему: «Покатайте моих детей». Дети — в 1-й раз в автомобиле. Они не знали, не понимали, что такое «редактор». Кажется, и Шура была. Он так весело катал. Болтали, — помню, о Куприне, которого он признавал и уважал (и Горького, вопреки Бунину, он признавал: у него было только непреходящее презрение к Леон. Андрееву).

Да... юбилей<sup>13</sup>. Мне кажется, бродя внизу ночью, он обдумывал свой «Поход солдата», свои «Труды и дни», которые поистине огромны. И вот когда Горнфельд, Пропер и Айзман к нему «не пришли» и не привели за руку должного ему 60 000 руб. (авансы невыплаченные), то он просто этого не заметил, как богатый человек не замечает должника своего. Тогда как должник воображает, что он «ждет, ловит его и хочет усадить в темницу за долг». Работа Суворина до такой степени громадна и превосходит работу «Горнфельда и Амфитеатрова», превосходит работу не какой-либо газеты и журнала, но (в моем представлении) была громаднее всей жизни и суеты этих эфимерид, то бездарных, то злых, то пошлых и грязных, — что Суворин, «празднуя свою печать», как бы праздновал «вообще печать». Он ее любил, уважал — уважал именно суету, движение... Милый, чудный старик. Нужно сказать — издали и «не войдя сам в газету», я не имел ни о ней, ни о нем настоящего представления, и кое-что (в *тоне*) и мне в ней не нравится. Но «все разъяснилось с отличнейшей стороны», как только приближался. Было маленькое легкомыслие, но не *хвастовство*. И т. д. «Все с грехом»: но «грехи» *Нов. Вр.* никогда не были грехами тщеславия, пустозвонства, жадности (денежной), подхалимства. Странно, что такая «литературная газета» на самом деле была очень далеко от гноящейся «литературности» и представляла «пуночливый халат Ал. Серг.», в котором тонул смеющийся.. то смеющийся, то задумчивый... старик. Все его портреты (и молодые), для меня совершенно несносные, какие-то фальшивые и деланные, — вовсе не передают живого С-на, полного жизни, напряжения, ясности и доброты. Чего стоит один Прокофьев. Чего стоит один Гей. И всегда милый Буренин. И ученый Эльпе. И раздраженный Иванова. Или деятельный — Россоловский. Было веяние какой-то доброты и благородства на всех. Во всех было что-то барственное, тоном старого русского барства, распущенного и, конечно, свинского (необходимейшая для мягкости черта). Не забудем, что «в навозе» (в коровьем хлеве) наш Спаситель родился. Суворин это отлично знал, отлично понимал и понимал, что «навоза» вычистить не только нельзя, но и бесполезно. В нем было великое христианское «пустить»,

но он далеко не пьяно плыл в этом «пусть», но все направлял «к пользам России и общества, и народа».

Ох, устал...

(не могу дальше писать).

25.IV.1915

\* \* \*

Славянофильства и нельзя изложить в 5-копечных брошюрках (Каутский). Славянофильство непопулярно. Но это — его качество, а не недостаток. От этого оно вечно.

Его даже вообще никак нельзя «изложить». Его можно читать в его классиках. Научиться ему. Это — культура.

Слава Богу, что догадался. Какая отрада.

В «век разрушения» (XIX в.) они одни продолжали строить. Продолжали дело царей и мудрецов.

Осанна...

Как радостна эта мысль.

27.IV.1915

\* \* \*

Тот, кто смотрит в микроскоп, не видит того, что видно в телескоп... а кто видит в телескоп, не замечает того, что лежит на «предметном стеклышке» микроскопа...

Вот расхождение Глеба Успенского и Клейнмихеля...  
русского общества и правительства...

Зрение правительства — телескопическое. И должно быть таким («иначе все поггло»). Он видит лес и говорит: «срубить». Или — «насадить». Т. е. Клейнмихель видит. Он (с нашей точки зрения) дурак, но — бронзовой, литой дуристью. Он «круглый», и его не ущипнешь.

Но «этой березоньки» он не видит. И алого цветочка под нею.

Белую березу заломали.

Охотнички выбегали...

Всего этого Клейнмихель НЕ СЛЫШИТ.

И тем жив, что не слышит (иначе бы «растворился», «разнежился»). Ему и не нужно слышать это.

Но и Успенский не слышит:

Стройся ко-ман-да-а!!!

И тоже ему не надо слышать, иначе бы он не запел песни, не закурил папироски. А папироска — хороша:

Закурил бы, — нет бумажки.

Полюбил бы, — нет милашки.

Но Бог сотворил и лист и цветок...

И еще цветок и опять лист.

И песню. И команду.

Клейнмихеля и Успенского.

Будем все любить. Помолимся и будем все любить.

30.IV.1915

\* \* \*

В Струве живет идея честного порядка.

Он очень любит Россию.

Но отчего же он «неудачен на Руси».

Он любит Россию нерусскою любовью.

Ему можно быть благодарным, но его нельзя любить.

Трагическое, — не крупное, но трагическое лицо в нашей истории.

Ему «удавалось», когда он плыл в нелепой революции \*. Т. е. хотя был сам и разумен и целесообразен, но поместил этот разум и эту цель внутрь нелепого явления, нелепого процесса.

«По-нашему».

Его «несли», славили, хвалили.

Но он вдруг стал «в самом деле человек» (теперь).

От него все отшатнулись.

То-то, рече Бернардович, — «трудны дела русские»:

Умом Россию не понять.

. . . . .

\* \* \*

30.IV.1915

Скворцов (Вас. Мих., Миссионер) на всякую характеристику себя, на всякие слепити о себе, на всякую насмешку над собою может ответить:

— Что же, таков русский человек.

А попробуйте-ка вы в корне отрицать «русского человека»: никуда не выкинетесь «на берег», кроме добродетельного Добролюбова.

— Люблю Святую Православную Церковь. Царей отчества моего люблю. Люблю орден\*\*. Люблю деньги. И хорошую икру к пирогу.

Что поделаешь. И я «ведением и неведением», «волею и неволею» люблю Василия Михайловича.

\* \* \*

2.V.1915

— Зачем Библия человеку? Достаточно «Полного собрания сочинений Амфитеатрова».

Когда все убедятся, что «достаточно» — то преобразование человечества начнется не сверху, а снизу, т. е. фундаментально и основательно, и неодолимо дойдет до верху.

Все будут думать, как Амфитеатров, чувствовать, как Амфитеатров, и желать то, чего желает Амфитеатров.

Т. е. занимать и не платить, быть пустозвонами и воображать себя учеными, быть «другом» Марьи Лусьевой<sup>15</sup> и охранителями женской чести.

Во-первых, это всем доступно, и, во-вторых, планета будет счастлива. Она наконец населится Ноздревыми: хоровые люди без денег, без жены, без детей, без обедни, «где-то» рожденные и которые потом «где-то» умрут и были в высшей степени счастливы. Ибо всегда находили «у кого позавтракать» и с кем вечером «поехать куда-нибудь».

Т. обр., проблема «всеобщего счастья», над которою трудились Милль, Прудон и Цебрикова — будет разрешена. Всесторонне и удовлетворительно.

Ведь она может быть разрешена в две стороны.

— Всего пожелать.

— От всего отказаться.

Поди-ка «постарайся» писать, как Пушкин, чувствовать, как Карамзин, и совершать подвиг, как Сусанин. Кости обломаешь, да и ничего не выйдет — ибо для этого надо *родиться* Пушкиным, Карамзиным и Сусаниным.

Тогда в бычачьей голове Амфитеатрова пошевелилась медленная мысль:

— И не надо. Достаточно Пушкина назвать блюдолизом, Карамзина — крепостником, а о Сусанине сказать, что он был так же пошл, как Комиссаров, — и тогда все устроится само собою. Тогда «всякий Амфитеатров» будет с самочувствием Пушкина, Карамзина и Сусанина: и хоть ему негде будет

\* «Освобождение»<sup>14</sup> в Штутгарде.

\*\* Скоро — телеграфировал мне — получит (выходя в отставку) чин тайного советника.

пообедать и он все «в долге» — но, естественно, будет счастлив, как Ноздрев, и украсит собою планету.

Так планета населится совершенно счастливыми жителями.

2.V.1915

\* \* \*

...*фокус* всех «Бесов» (Дост.) — как Петрушка Верховенский, террорист-клевветник-циник — кушает холодную курицу, «которая вам теперь уже не нужна», говорит он идеалисту Шатову<sup>16</sup>, к которому пришел потребовать от партии застрелиться.

Тот мечется. Мучится. Страдает. Говорит, что «все люди станут богатыми», а этот кушает и кушает.

— Я с утра не ел. Был в хлопотах по партии. И вот только теперь.

Гениально. И, собственно, где ни читают историю социал-революционной партии и «истории нашей культурной борьбы» — эта курочка все мелькает и мелькает...

Как всё *на нее* похоже...

О, Боже! Боже! Боже! Мои несчастные гимназические годы <sup>17</sup>.

7.V.1915

\* \* \*

Белинский — основатель мальчишества на Руси. Торжествующего мальчишества, — и который именно придал торжество, силу, победу ему.

Тут и положительные качества и бедствия. Свежесть, задор, молодость «последующей литературы»... Ее изменчивость, богатство движений... «Мальчишка» и «мальчишка». Так и прыгает, скачет. Хохочет. Свистит. «С мальчишкой весело»: и на 50—70—80 лет после Белинского в русской литературе установилось «весело».

Пока не стало несколько скучно. «Все мальчишки»: профессора, академики. Сюда звали церковь и государство. Те сказали: «Не хотим». Мальчишки им отстригали фалды, рукава, плевали на «регалии» (ордена).

Пока все стало скучно...

— Где же *мудрость*?

Вздروгнули все. «В самом деле, где мудрость?»

«Без мудрости» решительно неинтересно жить. Не за-ни-ма-тель-но.

А как же в литературе без занимательного? Везде можно без занимательного, в литературе нельзя.

И потянуло нас к мудрости.

Это «теперь». Это (я думаю) «Розанов», с его странной смесью «мальчишки» и «старика».

Так совершается «переход времен».

(на обороте транспаранта).

10.V.1915

\* \* \*

«Гоголь в русской литературе» — эта целая реформация...

Не меньше.

\* \* \*

Только «реформация»-то эта «без Бога, без Царя»...

Пришел колдун и, вынув из-под лапсердака черную палочку, сказал: «Вот я дотронуся до вас, и вы все станете мушкаркою»...

Без идей... Без идеала...

Великое, мещанство. Но мещанство не в смиренности своем, как «удел чело- веку на земле от Бога», а мещанство самодовольное, с телефоном и Эйфелевой башней. Мещанство «Гоголевское», специфическое...

«Мне идей не нужно, а нужно поутру кофе. И чтобы подала его чистоплот- ная немка, а не наша русская дура. Кофей я выпью и потом стану писать по- весть *Нос*»...

— У, идиот... У, страшный идиот. Ты одолел всех и со всех снял голову. Потому и тою силою снял, что на тебе самом не было головы, а только одет был шурток, сделанный уже не у сменного портного «из Лондона и Парижа», а у Рокфеллера или Эдисона.

«Вот настоящее. Цивилизация».

— И эта цивилизация — *смерть*.

10.V.1915

\* \* \*

Но я все-таки начал с того, что Гоголь был «реформация». Нельзя сказать, что «Пушкин одолел царствование Николая» или «царствование Александра» (1-го); он был «в царствовании», менее его, скромнее его, бессильнее его...

Гоголь знал хорошо, что он одолевает царствование, и оттого назвал «Мертвые души» и назвал их «поэмою». Какая гордость и самосознание в названии (поэмы): «Се творю все новое».

— Убирайтесь вы, балладники, песенники и бандуристы. Я вам заведу такую песенку, что не **расчихаете**...

И завел свой «похоронный марш»... И трубы, и органы, и флейты. Великое «Misereatur» Россини.

Дьявол улыбался.

— Ну, пойте же, пойте свои старые песни...

Раскрылись рты: не поется. Голоса нет. Вырвался стон и волчий вой...

Дьявол смеялся.

---

Да Гоголь был «над царствами». Явно. И вот по сему-то качеству я и говорю, что «Гоголь в русской литературе» есть собственно «реформация».

— Ты уже катилась в яму, моя Русь. Но я подтолкну, и ты слетишь в пропасть.

У, какой страшный! Страшный. Страшный. Страшный.

— Ты уже катилась ко всеобщему уравнию, к плоскости. Вот — черное зеркало. Темно. Мрачно. Твердь. Моей работы никто не разобьет. Поглядишься в него, дохлятина, и умри с тоски.

Неужели не страшно? Неужели никто не видит?

10.V.1915

\* \* \*

Осенью в дождь все грибы гнилые. Так и наше время. Чего же я сержусь? Чего недоумеваю? Точно удивлен и негодую.

Тургенев побежал за мальчишками. Мальчишки и барышни все решают, — особенно которые побезграмотнее. Мережковский, написавший «Грядущего Хама»<sup>18</sup>, сам выступил «явленным Хамом».

...даже не знает, у кого лизать пятки, — только бы лизать. Суть всего. Но ведь и гнилой гриб не знает, куда ему свесить голову, на север или юг.

Иванов-Разумник назвал их «мошениками», блудословами и лицемерами, и ими основанные и любимые религиозно-философские собрания «плутовским клубом» болтунов и обманщиков. Что же сделал Философов? Он ему отвечал в «Речи», назвал почтительно его по имени и отчеству и предложил... прочесть реферат в собраниях, говоря, что они «почтут за честь выслушать»?!!?

Что же это такое? Этого от начала мира не было. Невероятная русская поговорка: «Плюй дураку в глаза — ему все Божия роса», оправдалась: но — над *неглупым человеком*, но — связанным.

Узник. Пленник. Раб. Которого продают на базаре. Сии рабы — все, от Тургенева до Философа, между Тургеневым и Философовым.

Да что же такое случилось? Как могло выйти? «Благородная русская литература, где ты?»

Тут бегают жидки Айзман и Ольд'Ор. Впрочем, их теперь пять: еще Шелом Аш, Юшкевич. Потом три Горнфельда: собственно Горнфельд, Крянгифельд и Кранифельд. Ба: а Любош и Минский? Все жиды, везде жиды. И горланят:

— Мы купили глупого русского профессора<sup>18а</sup>. Дорого заплатили. И он 43 года «исподволь подготовлял все»: плевал за нас на Россию, отрекался вместо нас от Христа, высмеивал с нами темные христианские суеверия.

Мы ему платили обедом, экипировкою и типографией. Он печатал книги в нашем духе и распространял в нашем духе сочинения в «Подвижном каталоге» своего европейского и еврейского журнала. Он плевал на все русское и все возмущался какою-то историей с «Лукояновским исправником». Обедал же у барона Гинсбурга.

Потом прошло время, и стала печататься Любовь Гурвич, — по-литературному «Гуревич», с Флексером-Вольнским и «Северным Вестником». Там уже возмущался Минский, Мережковский и Фруг.

«Жидов сколько угодно».

Русский голос все спадал. Русская грудь начала кашлять. Газеты одна за другою, журналы один за другим стали переходить в еврейские руки. У них «сотрудничают русские люди, — и само собою, что они уже ни слова не говорят о евреях, а продолжают все старую литературную песню: что «все русское гнило».

Действительно гнило и особенно — около свеженького еврейского.

\* \* \*

19.V.1915

...да разве *все общество* не чихало, не хихикало, когда эти негодяи с пистолетами, ножами и бомбами гонялись за престарелым Государем?

Все чихали. Я слышал циничную фразу после выстрела Карповича<sup>19</sup>, от старой девушки, «женщины 60-х годов»:

— Вы знаете, по Петербургу ходит анекдот: когда Боголепов явился на тот свет, то Плеве и Сипягин сказали ему: «Мы вас дожидались. Недоставало 3-го партнера для виста».

И вот «хоть поздно», но постигаем ноумен и Грозного, и Аракчеева.

— Что же с этим отродьем делать, — с тем отродьем, которое называется «человечеством» и смеет кощунственно прибавлять «крещеное человечество».

\* \* \*

25.V.1915

...мне кажется иногда (часто), что Мережковского *нет*... Что это — *тень* около другого... Вернее — *тень* другого, отбрасываемая на читателя.

И говорят: «Мережковский». «Мережковский»: а его вовсе нет, а есть 1) Юлиан, 2) Леонардо, 3) Петр<sup>20</sup>, 4) христианство, 5) Renaissance, 6) Тютчев и Некрасов, 7) Чехов и Суворин<sup>21</sup> и т. д., и т. д., и проч., и проч.

Множество.

А среди его... в *промежутках* между вещами кто-то, что-то, ничто, дыра: и в этой дыре *тени всего*... Но тени не суть вещи, и «универсальный Мережковский» вовсе не существует: а только говоря «о Renaissance'e» — упомянешь «о Мережковском».

Оттого в эту «пустоту» набиваются всякие мысли, всякие чувства, всякие восторги, всякие ненависти... потому именно, что все сие место — *пусто*.

О, как страшно ничего не любить, ничего не ненавидеть, все знать, много читать, постоянно читать и, наконец, к последнему несчастью, — вечно писать, т. е. вечно записывать свою пустоту и увековечивать то, что для всякого есть достаточное горе, если даже и сознается только в себе.

От этого Мережковский вечно грустен. «Мережковский» и «радость», «Мережковский» и «веселость», «Мережковский» и «удовольствие» — *contradictio in adjecto*.

(Гаррис<sup>22</sup> — «Карамазовщина», о Мереж., Чех. и Сув. Попалась вырезка на столе.)



Ужасно. Тайная печаль гложет меня о Мережковском. Столько грусти, и — ни по чему.

Ужасно. Я не мог бы жить.

Статья Гар. очень хороша. Кто он? Жид? Англичанин?

---

Забавное (и страшное). Я *хорошо* знал Суворина. — Чехова вовсе не знал, но через суждения и отношение Суворина к Чехову и обратно могу судить и о Чехове.

Суть и разгадка взаимных их отношений в том, что Чехов был значительно спиритуалистичнее Суворина, развитее, образованнее его (не был в универс., т. е. Суворин) и вообще имел голову «более открытую всем ветрам», нежели Суворин, и до известной степени проникнутую большим количеством мыслей, большим числом точек зрения, чем как это было у Суворина.

Проще, сжатеe — был умнее Суворина.

Но тут начинается страшное.

Он был хитрее Суворина. И хуже его сердцем. Гораздо.

Суворин был замечательное *ясное сердце*. Да: с 4-мя миллионами в кармане, с 3-мя домами, собственник типографии и самой бойкой книготорговлей, он был «кадет в удаче», «талант каких мало», «влюблен в родную Землю» и, среди всех актрис и актеров, — сохранил почти детское сердце, глубоко доверчивое к людям, верящее в них, любящее их.

Я долго к нему присматривался и к «встрече» с ним вышел из «антипатии к нему» (толки, общее представление).

И — кончил тем, что рассмеялся. Богач, хозяин, писатель и торговец — он имел «жителейское сердце», как редко встретишь у кого, и поистине он был «любимец Божий» за эту ясность свою и простоту.

Что-то было «щедрое в нем», — о, не в деньгах (хотя и *в них*)! Щедрое — во всем. Он был щедр на похвалу, щедр на любовь, щедр на помощь, И (удивительно!) — никогда не помнил зла.

Воистину «любимец Божий».

Чехов же, — не имея отнюдь его гения и размаха (практического, в делах), — был его тоньше, обдуманнее и, увы, ловчее... Это горькую «ловкостью», которая так «не нужно» в могиле.

. . . . .

Мы шли с Александром Павловичем Чеховым («Седой» в литературе), и он мне рассказывал, на вседневный вопрос о Чехове, что «чувствует себя так-то» и «приехал (в Петербург) за тем-то». Сходим с лесенки редакции (он писал что-то в хронику в «Нов. Вр.»), как подымается нам навстречу в соболях Анна Ивановна (жена Суворина):

— Александр Павлыч! Антон Павлыч здесь?!!

— Нет.

— Как «нет»: мне сказали, что он третьего дня приехал?

— Нет. Может быть, но я не знаю. Нет, скорее это ошибка...

— Что вы? Что же это такое? Алексей Сергеевич (Суворин) ищет его, ждет его...

— Нет. Не приехал.

Простились. Прошла. Она так же любила Чехова, как сам Суворин.

Оба веселые, простые, ясные.

Я ничего не сказал Александру Павлычу. Что сказать? Как сказать? Он лгал. — но уже вторым лганьем, зависимым от брата: что же ему было «сказать», когда ему брат явно сказал — «не говори». И «не говори», п. ч. Суворин бы его обнял, увез к себе, и что же бы он тогда ответил «друзьям» вроде Гольцева и Короленке, которые нашептывали ему все те речи, какими «загробно» вот теперь разрешился Мережковский о Суворине...

И он, увы, *нечистый* сердцем, изогнулся к земле и сказал: «Не вижу Суворина. Не знаю. Не был у него. Ведь он...»

Хоть с Мережковским «на последях» приговаривал: — Подлец.

Это предательство человека, столь его любившего (т. е. Суворин — Чехова), ужасно.

Когда я вспоминаю этот случай встречи, — у меня всегда холодно в спине. И в мозгу «идет дождь».

— Скверно на этом свете, господа (Гоголь)<sup>23</sup>.

Но волны людские шумят. Бездумны, как волны морские. И Чехов — «чистенький», а Суворин «такой подлец» (Мережковский о нем, да косвенно, из жестов отчуждения, — и Чехов).

Mea culpa... postea culpa... humana culpa<sup>24</sup>.

Посыпдем голову пеплом и станем выть, как собаки, на пепелище человечества. Но я боюсь, что собаки не захотят нашего соседства. И провоют протяжно: «Это — предатель человек. Бежим от него в лес».

\* \* \*

26.V.1915

..праздно русское общество — воистину несчастное общество, — разбирает «типы» Марка Волохова, Базарова, Раскольников, «Бесов», как раньше Печорина и Евг. Онегина, воображая, что это не только «литература», но «дело»... Наконец-то «дело»!!!

Несчастное. Какое несчастное! Кто внушил ему (а кто-то внушил!), будто это что-нибудь вообще значит и что Россия, которая никак не может уступить ни Турции, ни Англии, которой боятся — от нее ожидают помощи целые страны и народности, вдруг испугается и побежит от Верочки Фигнер, которая «прочла и усвоила все типы» и взяла в руки пистолет.

Вера. Пистолет. И «типы». И бегущая перед нею Россия.

— Потому что Герцен так демонски хохотал.

Да для России Герцен есть просто мазурик, а Вера — гулящая заблудившаяся девчонка. Как наша Таня с ее словами мамочке:

— Мамочка... Я не знаю... Я заблудилась...

И заплакала. Разница в том, что Вера стара, черства и не имеет этого сознания о себе, как тогда (в Саратове<sup>25</sup>) наша 8-летняя Таня.

Россия обязана «отступить», п. ч. против нее «соединились» Желябов и эта гнусная Сонька, его любовница из генералыш. Позвольте да почему же Россия должна отступить? Россия — 100 000 000 населения, пахотные поля в миллиард десятин, сады яблочные, вишневые, огороды с капустой, морковью, свеклой. С картофелем. Отчего все это должно «повернуть на другой румб» ради Соньки и Желябки (до чего гнусная фамилия, — и, по портрету, самодовольная харя мужичонки, который наконец «выучился»).

— Почему? Почему? Ради Бога — почему?

— Потому, что они прочитали Маркса и Лассалья, из которых первый назвал второго посмертно шарлатаном (в «Вестн. Евр.»<sup>26</sup> читал, года 3 назад), и если бы назвал *при жизни* так, и печатно, а не в приватном письме, то, вероятно, получил бы от Лассалья ответ: «Да ведь и твой *Капитал* — только шарлатанство в зерне под ученым соусом».

Страна вообще поворачивает по нужде, по голоду, по холоду, по завоеванию ее соседями (Петр Великий), — по бессилию или избытку силы: но она не «поворачивается» *ни ради какой книги*, пусть самой истинной и великопелной: п. ч. что же это за чудовищный деспотизм и чудовищное книжничество, если бы народы «бежали» сюда и «бежали» туда, когда «написана такая-то книга»...

Что же это за гнуснейшее самозванство, этих Верок и Софок, перед которым поблдевает Тушинский Вор, — и что за деспотизм и нахальство, на которое не посягал Аракеев и Клейнмихель: начать стрелять в Государя страны, потому что они «прочитали все о типах» и как на последних героях остановились на двух жидках из Берлина.

Боже мой. Боже мой. Боже мой. И вся страна, печать — встает и приветствует, вся ожидает с тайным восхищением: «когда две героини застрелят Старца-Царя».

И они пишут мемуары. И о них пишут мемуары. Верка осмеливается писать стихи и *печатать их*. Морозов печатает «Письма из Шлиссельбурга»<sup>27</sup> — это который женился, сочинил кометы и у которого столько сестриц «уже замужем».

Боже мой. Боже мой: тетенка и Шпонька, Шпонька и тетенка, «мертвые души», гадкие души, вонючие. Тупые, лоснящиеся самодовольством.

— О, медный пятак! Кто тебя столько тер, что ты горишь, как Солнце.

(за уборкой сундуков)

27.V.1915

\* \* \*

«На ножах» Лескова имеет худое заглавие, худые имена людей (что это за «Гордонов», напр.?) и проч.; вообще — худую обстановку. Но сам роман хорош, интересен и, конечно, верен, как «списанное с *окружающего*»... Это «Бесы» Лескова, как Достоевский мог бы своих «Бесов» назвать «На ножах».

Тема — та же. Время — то же. И вот 2 таких русских человека, как Лесков и Достоевский, приносят о явлении одно и то же слово.

...Но, в сторону пока «дело»: роман Д-го так знаменит, а об «На ножах» я даже никогда не слышал ни от одного человека, что есть такой роман в русской литературе, и вовсе не знал, что он *существует*: тогда как даже о романах Боборыкина, хоть их не читал (кроме первых глав «В путь-дорогу» и еще главы 1<sup>1/2</sup> о «богоискателях»), но *слыхал*, однако же, — и помню их заглавия — «Китай-город», «Жертва вечерняя», «В путь-дорогу», писания его о Золя.

Между тем «На ножах» (немного растянут и неприятные лесковские «словечки») — интересен, волнующ, полон мысли и лесковской наблюдательности. Ну, не «включили бы в ход литературы», но читали бы как беллетристику. «Все-таки интересно». Но ни от одного из знакомых я никогда не слышал, чтобы он читал «На ножах».

Содержание его — потрясающе. Судя по нашему, Пирожкову — конечно, правдоподобно, возможно, вероятно. Конечно — так *бывало*, «подобное — случалось».

Отчего же никто не читал о «бывающем»? Он затронул «новых людей». Но, Боже! как Щедрин «затрагивал» помещиков, чиновников — а ведь это целые классы народонаселения. И он ведь топил, не разбирая, правого и виноватого. «Все виноваты», «все не наши», «все не мои», «все не читают *Отечественных записок*». Что за вина не читать «Отеч. зап.»? За что же чуть не то что «в Сибирь», а совсем вычеркивать из бытия?

(устал)

Мальчикам и девочкам в правильных русских семьях следовало бы давать читать «На ножах». Это превосходная «прививка оспы». Натуральная оспа не вскочит, и лицо не обезобразится, если он прочтет роман в 16—17 лет, фазу возраста «как раз перед социализмом». И глупое, вялое, — да прямо *не знающее категории литературы* Министерство просвещения, в самый разгар борьбы с «пропагандою в 31-й губернии» (эпоха перед Лорис-Меликовым), палец о палец не ударило, чтобы сделать гимназистам эту противооспенную прививку.

Возмутительно.

\* \* \*

28.V.1915

Чтобы «опровергнуть» Пушкина — нужно ума много. Мож. быть, и никакого не хватит. Как же бы изловчиться, — какой прием, чтобы опрокинуть это благородство?

А оно естественно мешает прежде всего всякому неблагородству.

Как же сделать?

Встретить его тупым рылом. Захрюкать. Царя слова нельзя победить словом, но хрюканьем можно.

Очень просто.

Так «судьба» и вывела против него Писарева. Писарева, Добролюбова и Чернышевского. Три рыла поднялись к нему и захрюкали.

Не для житейского волнения<sup>28</sup>,  
Ни для того, ни для сего.

— Хрю! хрю!  
— Хрю!  
— Еще хрю.

И пусть у гробового входа<sup>29</sup>.

— Хрю!  
— Хрю! хрю!

И Пушкин угас. Сгас. «Никто более не читает». В Брянскую прогимназию хотели выписать: книгопродавец Салаев ответил, что «нигде достать нельзя», нигде «не продается», магазины не держат «за полным отсутствием спроса».

И прогимназия довольствовалась не «Собранием сочинений», а «Полтавой» и «Скупым рыцарем», с приложениями, кажется, Гарусова, в учебных изданиях книгопродавца Глазунова<sup>30</sup>.

(О Пушкине — я предложил выписать, молодой учитель «со скамеечки» университетской).

Скажите: Греч, Булгарин и Клейнмихель сделали ли для образованности русской столько вреда, как Добролюбов, Чернышевский и Писарев.

Но имена сии и по сию пору «сияют»: тут и Бонч-Бруевич, и Рог-Рогачевский, и Иванов-Разумник стараются. «Хрю» все старается и везде ползет.

«Хрю».

Но ведь это принцип истории? Один из ее принципов.

Мгла. Туман. Сырость.

Господи: это так же вечно, как

Солнце, Свет, Воздух.

30.V.1915

• • •

Когда мы говорим о первобытных людях, то, следуя географическим впечатлениям путешественников по Африке, — воображаем их вроде голых негров, охотящихся бушменов или вроде русских лопарей и эскимосов. Воображаем непременно нечто упрощенное, первоначальное.

Так ли это? Из лопарей и негров до сих пор не вышло цивилизации. А русские сложили Русское Царство!

До Рюрика были ли они как лопари? Дикие? Да, у них не было письменности и не печаталась история, но...

Кроме этого ведь может быть жизнь просто неописанная. Жизнь без истории, но историческая.

Мне кажется, до Рюрика жизнь была уже вполне историческая. Может быть, сложнейшая и лучшая, более счастливая и мудрая, чем как сейчас «на нашем селе».

Все-таки ведь замечательно, что слагались целые былины. Теперь народ не умеет, нет таланта и «продолжительности ума» сложить целую былинку, т. е. песенный рассказ про лицо Ильи Муромца, Добрыни, Святогора, Василия Буслаевича. Теперь — частушки. Что-то коротенькое и обрывающееся в начале же.

Явно, ум был широкий, большой, спокойный.

Была ли торговля? О, да. Изделия? — Кустарная промышленность. В ней важно, что все «самими выдуманно» и ничего нет заимствованного. Творчество явно было огромное.

Последующая «история» или «так называемая история» скорее придавила народ. Пошли «порядки» от более умных и более сильных людей. Людям стало теснее, люди сжались. Заскучили люди и перестали петь песни и рассказывать сказки.

Не очень хорошо.

Я не люблю истории.

Теперь еще: как же они так жили, без исправников, станowych и полиции? Казалось бы, невозможно. Ведь теперь все развалится и друг другу перекусают языки.

Тут и есть самое главное. Явно люди были добрее и упорядоченнее, чем теперь, — были врожденно благообразнее и спокойнее. Была гармония благородно рожденных людей, — белых хлебопашцев.

(устал писать: в Белом<sup>31</sup>, Смоленск. губ., когда я приехал туда в 1892 г., было 3000 жителей и только одна «Кривая улица». Но ТАМ ВО ВСЕ НЕ БЫЛО ВОРОВСТВА, и брат Коля, директор гимназии, мне рассказал, что, когда в квартире работали плотники или маляры, он никогда не запирает стол с деньгами и оставлял на столе кучки серебра, иной раз бумажку, — и меди, без мысли, что кто-нибудь украдет. И за 10 лет его службы этого никогда не случалось).

1.VI.1915

\* \* \*

Книга Флоренского («Столп и утверждение истины») в каждой строке сладка. Но у нее есть 1 недостаток: она написана человеком 30 лет, и является подозрение: откуда и как он набрал столько сладости в свою душу — сладких мыслей, сладких чувств, — и далее как вывод, опять же «подозрительный»: суть ли это *выбор* его души или *украшение* ее?

Является подозрение, что книга есть великий стиль великого стилиста. А не жизнь и дело, т. е. настоящая серьезность.

Не знаю. Колеблюсь.

—————

Но «Столп» есть огромное явление нашей умственной жизни: он равно принадлежит богословию, литературе и философии.

Самое важное, однако, во Флор. — «я», «человек». История его женитьбы, мне рассказанная в письме, по красоте и глубине просится в средневековую легенду.

Сожаления достойно, что некоторых очень важных своих мыслей (и наблюдений) он решился *никогда* в жизни не печатать и вообще никак не высказывать. Сохранить их в абсолютном молчании и неоповещении кому-либо. По-видимому, он этого не хочет, чтобы не «запутать ум людей». О, очень благожелателен, очень старается воспитывать и научать (*educare et docere*).

—————

Но если и есть «стиль», то это со временем испарится. Его слабая сторона — «гордыня церковная», его лучшая сторона — простота и смирение («костромское уездное начало»).

Он глубоко любит Россию и русских.

7.VI.1915

\* \* \*

Менее ста лет прошло со времени Карамзина, и его уже нельзя читать для интереса. Для великолепия — можно, но это восхищенное чтение совсем не то, что «просто», «для удовольствия» и «себя».

Полезно и действует только простое чтение.

Что же эти негодяи сделали, от Чернышевского и Добролюбова — до М. Горького и Сакулина, лишив «читаемости» кн. Одоевского, т. е. отняв у России кн. Одоевского и суя «свои произведения», столь замечательные.

Отчего никто не кричит?

Отчего Россия не стонет?

О, рабья страна: целуешь кнут, который тебя хлещет по морде.

И палачи эти — от Чернышевского до Горького, а рабы — это Академия наук и университеты, и журналы, все...

10.VI.1915

\* \* \*

— Нужно преодолеть Достоевского, — это взял темой себе в памятной речи, посвященной Достоевскому, в Религ. Фил. собр. (должно быть, в 1913 или 1914 г.) — Столпнер. Диалектика, философия и психология всего Достоевского, особенно его гениальных «Записок из подполья», критика политического рационализма в этих «Записках» такова, что пока она не опрокинута, пока не показана ее ложность, дотоле русский человек, русское общество, вообще Россия — не может двинуться вперед, двинуться свободно и вдохновенно, «с верою, надеждою и любовью». Дотоле будут потуги на прогресс и свободу, а не свобода и не прогресс.

Столпнер еврей и социал-демократ.

Шестов, тоже еврей, сидя у меня, спросил:

— К какой бы из теперешних партий примкнул Достоевский, если бы был жив?

Я молчал. Он продолжал:

— Разумеется, к самой черносотенной партии, к Союзу Русского народа и «истинно русских людей».

Догадавшись, я сказал:

— Конечно.

Не забудем, что в «Дневнике писателя» Д-кий стал на сторону мясников, покотливших студентов в Охотном ряду (Москва)<sup>32</sup>. На бешенство печати против мясников он сказал, обращаясь собственно к студентам: «Мясником был и Кузьма Минин-Сухорукий».

Достоевский еще не пережил 1-го марта. Можно представить себе ярость, какую бы он после этого почувствовал против «новых». Но достаточно и мясников: он, очевидно, бы примкнул к тем, кто после 17 октября и «великой забастовки» начал громить интеллигенцию в Твери, в Томске, в Одессе.

Столпнер еще сказал мне устно раз:

— Достоевский весь вертляв и фальшив. Вы читали у него пламенные строки в одном направлении и почти не замечаете, как у него из-под одного пафоса выдвигается противоположный, который весь его (тот первый пафос) съедает... На него нельзя положиться, опереться, надеяться. Он обманчив. И надежда — на Толстого: он учит правильному, ясному, полезному добру. Вот кто моральный вождь России и кого молодежь должна, противопоставив Д-ому, выдвинуть в свои вожди.

Я молчал.

— Например, в том месте «Дневника писателя», где он говорит, что Россия, как последняя в Европе по финансам страна и вообще презираемая и ненавидимая во всей Европе, — должна *сесть* смиренно при дорожке, сняв шапку и собирая, как нищенка, себе гроши в шапку...

Я слишком хорошо помнил это место и сказал Столпнеру:

— Ну? А чем кончат?! — Константинополь должен быть наш!!<sup>33</sup> Непременно наш! Мы его завоюем, Св. София — наша и т. п.

Я и это помнил, хотя мне не приходило на ум это сопоставить. Тут Столпнер «открыл». Он продолжал, и я у него почувствовал ненависть и муку к Достоевскому:

— И у него всегда так. Лицо являет величайшее смирение, убогость, нищенство, — и из-под него лезет на вас сатанинская гордость.

И это «открыл» Столпнер, мне на ум не приходило. Правоту его (Ст-ра) я чувствовал. Он закончил:

— Помните об евреях, «40 веков бытия»? Что он написал: «Во имя братства, во имя единства и всемирного чувства — обнимемся с ним! Прочь неравенство и черта оседлости... Будем братья — несмотря на все, что я сказал выше»...

О, я слишком хорошо все это помнил.

— Но потом он положил им гадость: «жид», «банк», Европа «пожидовела», и в жиде «ничего нет, кроме банка и прогресса». И т. п. гадости.



О, да, я помнил. Все эти сопоставления мне не приходили на ум до Столлнера. Он обвинял:

— Из-под «братства» — лютое разделение, из-под «христианства» — неутолимая злоба. Он был схож с Иоанном Грозным, который богословствовал и пытал. К счастью, в России есть Петр Великий. Грозный — не путь, путь — Петр Великий. Петр тогда, а теперь — Толстой. Россия должна выбраться из этого бреда, из этого дурмана, из этой фальши, лукавства и всяческой духовной тьмы...

Тогда мне не приходило на ум, но я договорю мысль Столлнера:

— И сделаться штундистской Россией. Мяконькой, рациональной, умеренно благочестивой и усиленно-чистоплотной.

И утро мое заревело:

— Подавайте нам Иоанна Грозного. Эту хлыстовскую политику, со скорпионами, обедней, трезвоном, юродивыми... Богомерзкую и безумную. Она всему миру противна, но нас-то, русских, она одна и насытит.

К черту ratio. Я хочу кашу с трюфелями. А на рай потому именно и надеюсь, что всеконечно признаю и утверждаю ад.

Ходи печка, ходи дверь  
Маленькому негде лечь...

Так кажется. А м. б., и не так. Все равно. Главное — чтобы «печка ходила», и «приседала», и «кланялась».

10.VI.1915

\* \* \*

Единственно есть два способа повлиять на дела в России:

— Начать помогать тому, кто «везет воз», и чуть прибавлять свои советы, предостережение, помощь, указание... «налево если — то как бы не свалиться в яму», «направо очень — колесо застрянет — не вытащишь телегу». Лучше «прямо и вперед», потихоньку и помолясь Богу.

Это выбрал мудрый старик (С-н)<sup>84</sup>. Но есть и другой путь:

— Распрячь воз. Вон лошадей. Ломай телегу, — негодящий инструмент. Мы сами и жугом:

Эй, дубинушка, ухнем.  
Сама пойдет...  
Сама дерет...

Эх, ма...

Хорошо. Но везший воз, пожалуй, даст по уху. И дает уже.

Это судьба радикализма и молодежи. И блудных жидков, которые умны в банке, но вовсе неумны в политике.

Ай! Цай!! Нас поколотили.  
И что же эта за политика!!!

Городовой:

— Еще накладу.

12.VI.1915

\* \* \*

Что же те «крапленые карты», на которые опирается социализм?

Которые дают ему «выигрыш без риска»?

Это фальшь и дряблость общества, с мутною головою и тщеславным сердцем, и которое не имеет никаких реальных обязанностей и привязанностей.

---

Сегодня орден Андрея Первозванного генерал-инженеру Петрову. Я так рад. Подпись под рескриптом: «Искренно вас уважающий Николай». Нельзя лучше, истиннее выразить свое уважение к человеку.

Единственный раз я его видел у Н. Н. Страхова. Вошел военный генерал — кто, я не знал. Заговорил. Говорили о крушении царского поезда<sup>35</sup>, и он сказал, что «покушения не было, а произошло оттого, что рельсы раздвинулись от большой тяжести поезда при очень быстром ходе, на закруглении и боковой качки поезда». Раньше я этой боковой качки не замечал и теперь не понимал, отчего же она происходит. Между тем именно боковая и именно качка д. происходит от неабсолютно одинаковой, в каждой точке пути, высоты правого и левого рельса. От этого каждую секунду правые колеса как бы подсакаивают кверху или, напротив, опускаются сравнительно с левыми: а в следующую секунду — наоборот. Поезд — качается, и это с каждой секундой увеличивается. Собственно, очень быстрый поезд, «летя», все время стремится сорваться с рельсов, «послав их к черту» и пойдя по шпалам. Быстрый поезд — азартный игрок в карты, у которого «вихрь в башке». Ну, и уж тут «17-ое октября вас поджидает».

Он говорил спокойно, твердо и отчетливо, точно считал трехрублевки и пятирублевки в пачке. Никакого затруднения.

Был тоже Майков (А. Н.) и заговорил о Суэцком канале. И так же «легко считая ассигнации», Петров сказал, сколько кораблей прошло через него в минувшем году и сколько тонн товару перевезено, — и связал это с тем, чем интересовался Майков.

«Ему все легко. Он все знает».

А ведь я привык к мысли, что русские ничего не знают и им все трудно. Посидел. Ушел.

И до сих пор у меня стоит впечатление достоинства. «Искренно уважающий вас» — как это точно.

---

И вот я, вечно думающий «о них», потому что весь день думаю о Петрове рядом с Плехановым, с «геологом» Кропоткиным и с «нашими знаменитыми» Николаем Константиновичем и Николаем Григорьевичем (Мих. и Черн.). Какие чумички. Да им нельзя дать портков выстирать: издерут, напачкают, а чистыми не сделают. Помните, как у Дебогория-Мокриевича описываются «наши»<sup>36</sup>, которые потихоньку уходили в лес и там пробовали заниматься крашением ситцев, думая «по-народному приложить руки к труду». Прилагали студенту и курсистки. Но как помоешь — «краски сходили». Они просто мазали краскою материю, а не укрепляли краску на материи. Бедные преобразователи России.

Но Николай Константинович и Николай Григорьевич верили: «все-таки преобразуем».

И убили Александра II, как «мелочь», мешавшую их преобразованиям. И перед КЕМ Петров стоял навтыжку, давая объяснения.

Потом думал «сравнительно» о Льве Тихомирове. Тусклый редактор «Московск. Вedom.» и автор каких-то статей, брошюр и книжек, которые нужны безграмотному, а грамотному не нужны.

Мне ужасно бы хотелось, чтобы этим знаменитым «нашим» было поручено провести железную дорогу по Туркестану, «оросить голодную степь арыками» или хоть «хорошо и исправно устроить богослужение во всем Ветлужском уезде». Конечно, они бы «намазали», как свои ситцы тогда, измучились, изнервничались, передрались, еще выделили бы около «большевиков» и «меньшевиков» — каких-нибудь «средних» или «беззаглавцев»: сотворили бы смешное и умерли.

«Ничего». «От Дегаева до Судейкина — ничего». И «от декабристов до Николая Михайловского — ничего».

А иное дело, если бы всех их взяли на содержание 40-летние бырины. Тогда они устроили бы «нашу редакцию», симпатичный журнал, и писали бы пламенно и усердно до второго пришествия Христова или до «поражения гидры монархизма» в России.

Что же эта шушера разговаривает? Отчего о шушере столько пишут? Отчего существует их поганая история, когда нет священной истории «о делах русских

генерал-инженеров»? А, отчего? Отчего это безумие, что хлеба мы не замечаем, а жуем булжжик и за хлеб не благодарим, а благословляем камень, которым нам шлепнуло по голове.

И никто не ответит, «почему». Промолчит Плеханов. Промолчит Кропоткин. Промолчит Г. Лопатин. Верочка<sup>37</sup> «не удостоит ответа». И даже эта Верочка 2-го сорта, Засулич.

Все они идут гордые и самодовольные. На них смотрит история, и они герои, и так в собственных глазах. Между тем это просто «пустое место истории», без содержания, воистину без хлеба...

Господи, и никто не услышит.

Никому не нужно слово мое.

Всякий проходящий скажет: «О чем ты воешь»<sup>38</sup>.

Вою, как ночной ветер в осень. Потому что воеется.

\* \* \*

12.VI.1915

Он подлец был, конечно; п. ч. он любил Россию.

Он не украл, не убил и не изменил. Ничего уголовного. *Суть в мнениях:* он, например, тревожно несколько лет обращал внимание правительства на «упадок центра России», центральных 36-ти великороссийских губерний.

Полная причина быть названным «подлецом». И Мережковский так назвал 78-летнего старика. И как назвал: вложил *самому старику это определение себя «подлецом»:*

— Пусть я и подлец, — (как бы) говорит Суворин, — но вот, мне другом был чистойшей души человек, Антон Павлович Чехов. Как вы нас *разделите?*

Это у Мережковского (в газете, в книге выпустил).

Так и запомним: «Честно мыслящий русский человек, и особенно если он писатель, не может не ненавидеть Россию».

Да, это, конечно, так и есть, со Щедрина и «Современника» и декабристов.

\* \* \*

13.VI.1915

...болит душа за Россию.

...болит за ее *нигилизм*.

Если «да» (т. е. нигилизм) — тогда смерть, гроб. Тогда не нужно жизни, бытия. «Если Россия будет нигилистичной» — то России нужно перестать быть и нужно желать, чтобы она *перестала быть*.

«Исчезни, моя родина. Погибни». Легко ли это сказать русскому? И кто любит родину больше (о, неизмеримо) себя. Но твердо говорю: «Если Россия *вправду* нигилистична — пусть не живет».

Вот где зажата душа. Но как «нигилизм» пройдет, когда почти все нигилистично? даже мальчики? гимназисты?

Но во мне же он прошел? Но я — я. Большая разница «со всеми». Однако если *немногие* останутся не нигилистами, а все — нигилисты: Родине не надо быть. Ибо значат не «лица», а масса.

Вот где зажата душа. Вот отчего болею. Вот отчего пишу.

Пройдет ли?

Не знаю.

Как Мякотин станет, как я? Никогда. Елизавета Кускова<sup>39</sup>, как мамочка? Никогда.

А без Елизаветы Кусковой и Мякотина Русь не спасется. Ибо они — «все», «общее мнение».

Богу нужны народы, а вовсе не человек. Богу нужны не герои, а все.

Как же Елизавета Кускова придет ко мне и скажет: «Я верую». Никогда. Да она и в самом деле не верует. «Даже и представить себе не может».

Есть ли у нее дети? (Вот если бы захворали.) Наверное — нет. Муж? Правдоподобно — «да». Но и муж умрет — она ничего не почувствует. Такие не чувствуют ни смерти, ни жизни.

Им бы «рабочий вопрос». А тогда они устроят «забастовку». «От забастовки до забастовки» — так и живут.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Помилуй и *их* — рабов Твоих невежественных и темных. Они еще несчастнее оттого, что чувствуют себя счастливыми.

\* \* \*

18.VI.1915

Грех, грех, грех в мсих словах о Конст. Леонтьеве в «Оп. л.»<sup>40</sup>. Как мог решиться сказать. Помню, тогда б. солнечный день (утро), я ехал в клинику и, приехав и поговорив с мамой, сел и потихоньку записал у столика.

Леонтьев — величайший мыслитель за XIX в. в России. Карамзин или Жуковский, да, кажется, и из славянофилов многие — дети против него. Герцен — дитя. Катков — извожик, Вл. Соловьев — какой-то недостойный ёрник.

Леонтьев стоит между ними как угрюмая вечная скала. «И бури веют вокруг головы моей — но голова не клонится».

Мальчишеские слова (мой о нем).

Как смел — не понимаю.

Вот еще что: письма его (к Александрову<sup>41</sup>, в Бог. в., только что прочел) являют вообще *по необыкновенной чистоте и благородству* души — что-то праведное. По качеству «Писем» — это 1-й писатель России за XIX в. «Все мы грешны, если к нам придвинуть Л-ва», и хочется сказать — Леонтьев *праведный*.

Как «*Праведный Беда Проповедник*».

Да. Такой же. «И шум камней упавших был ему ответом» (в каком-то стихотворении о Бедe Проповеднике)<sup>42</sup>.

\* \* \*

19.VI.1915

Как мне хочется быть собакой.

Собакой, лошадью на дворе и оберегать Дом и хозяина.

Дом — Россия. Хозяин — «истинно русские люди».

(*почти проснувшись вдруе*).

\* \* \*

20.VI.1915

Все-таки революционершкки — паршивый народ.

Не по лицам некрупным, а по существу.

И вот почему:

Они не понимают БОЛИ.

Они не понимают СМЕРТИ.

Они не понимают РОЖДЕНИЯ.

О боли они думают: это пустой желудок. Это пошло и глупо. Есть Рак. Селезенка. Печень. Есть Каин, убивающий Авеля не от голода.

Просто — плоскость. «Если раздавить клопа, ползущего по стене», то мы «войдем в Царство Небесное». Я не могу верить такому социализму.

И о смерти: если б они ее понимали, они не понесли бы на пике голову маркизы Ломбаль<sup>43</sup>. «Потому что она аристократка». Ибо аристократу умирать так же больно, как мне.

И они не понимают рождения. Мария Антуанета имела ребенка. И когда была беременная, у нее было «все так же хорошо», как у ваших жен и любовниц.

Подлецы.

Все, что я могу сказать революции и революционерам: — Подлецы.

И не хвастайтесь «государственными идеями» Мирабо. Они меньше идей того юродивого, который подал Грозному — в Пскове — кусок мяса. Тот сказал: «Теперь — пост, я не ем». Он ответил: «А мясо человеческое ешь в пост?»<sup>44</sup>. Это короче его 10 томного «Рассуждения о Прусской монархии» и гораздо яснее и полнее.

Да рассуждения Мирабо и не могли быть глубокие, ибо кто не понимает рождения и боли — не может быть в глубине вещей политиком, строителем царств и городов.

Московские цари были глубже французских политиков. Потому что они пели молебны. Даже Иван Грозный «трезвонил». Обманывали, копили деньги (Калита), все — «по-нашенскому». Так как они были «по-нашенскому», то они роднее, ближе народу, чем франтоватый Мирабо. Мирабо был хлыщ политики, а не мудрец ее. А московские цари были мудры и «скопотили» обширнейшее царство, не чета «*Reflèxions sur monarchie prussienne*»<sup>45</sup>.

Цари понимали боль, роды и смерть, — они «кость от кости народа крестьянского», а народ крестьянский есть первенствующий по смыслу в царствах и в истории народ, и воистину «каждый крестьянин есть царь по державному устройению ума и души».

Вот.

Еще что сказать об этой шушере от 1789 года до 1881 года: что они шушера опять не по лицам, а по существу своему: ибо они — предали, суть предатели.

Революция — предательство.

Это — раскол, дробление, «две части», «мы и вы».

А человечество — я.

Субъект.

Единое.

Как Одно Небо и Один Бог.

(за кофе утром).

22.VI.1915

\* \* \*

Да русским вообще ничего НЕ НУЖНО.

До Пулковской обсерватории доехать  $\frac{1}{2}$  часа от Спб. Я 23 года живу в Спб. и никогда не видел ни одного человека, который бы «доехал».

Ругаю за это. Но и САМ «не доехал».

Что же это такое?

Размышляю. Ищу. Догадываюсь. И нахожу успокоение: «ДА РУССКИМ ВООБЩЕ ХОРОШО и без Пулковской обсерватории».

Вот небо. Бирюзовое (сейчас) (20 м. 7-го вечера, 22 июня). Внимательно всматриваюсь, припоминаю цвет бирюзы (видал у персяшки) и вижу, что сколько хватит глаз — осколок бирюзы, опрокинутый над нами. В столько верст ширины. Что за это дать? Можно царство отдать.

А я имею даром. Каждый день. В своем употреблении. Которую никто не отнимет.

И пью чай с ватрушкой. А дети собрали чашечку земляники.

И вот я не еду в Пулково. Зачем я поеду, когда «тут» лучше Пулково?

Ясно. Арифметика.

«Мы ленивы и нелюбопытны»<sup>46</sup> оттого, собственно, что «у нас за печкой» живут прелюбопытнейшие истории и что нам не надо и со стула встать, чтобы достать рукой до бирюзы в целое небо величиной.

22.VI.1915

\* \* \*

Русскому человеку все русское люблю.

«Не говоря уж о законах»: но вот что — нравится и русское беззаконие.

«Как в сем случае русский человек оказал смекалку».

(читаю Лескова «Русское тайнобрачие»<sup>47</sup>).

22.VI.1915

\* \* \*

Хвастовство — всегда противно. Противнее хвастовства ничего нет. И вот этим-то противным пропитана вся революция.

Все они влюблены друг в друга — влюблены в себя. Посмотрите «Подпольная Россия» у Кравчинского (Степняка). Прямо пишет эстетические святцы. Кроме «небожителей» и не встречается других.

В «Русск. Богатстве» за месяц или за два до войны я читал захлебывающееся сообщение о «бабушке», как она поживает, в чем ходит и что кушает. Эта чудовищная старуха, родившая для Руси знаменитого Брешко-Брешковского (сотрудник и романист «Биржев. Ведом.»), на самом деле существует в революции «для последнего закала» убийц политических. Живет она за границей. И вот кого революция приспособляет к убийству, — то их, после предварительного воспитания, на месяц, на два переправляют за границу к этой «бабушке», уже древней старухе теперь, которая нашипгивывает несчастного юношу или девушку такою специфическою ненавистью «к правительству», что он (она) готов на рожон лезть. Когда все кончено, она «благословляет на подвиг», юноша переезжает границу, ему дают бомбу или отравленный кинжал, и он «погибает смертью храбрых» (жаргон революции).

Эта Ведьма хорошо знает свою роль, но так закурена жидовскими фимиамами, что ей и в голову не приходит, что ее роль лежит неподалеку от роли Азефа: приготавливать к виселице.

И вот она охорашивает и охорашивает барашков.

Цензура, или совершенно провокаторская, или совершенно очумелая, пропустила сей печатный акафист царевнице (Ек. Брешковская).

Как не быть революции? Молодежь наша вся затянута дымом ее, который не пропускает ни одного луча света. Она читает такой сплошной фимиами революции, что у нее нет никакого средства, никакой нити добраться до реального положения вещей.

(за «Рассказом неизвестного человека» Чехова<sup>18</sup>; и этот — пошло льстит «конспирации»).

...да, к чему я говорил? — А вот к чему. Литературная революция, да и общественная (разговоры) рухнет в один прекрасный день вся и без остатка.

Мне немощно непонятна история борьбы правительства с революцией, — именно та часть «мероприятий», которая показывает, что правительство как будто серьезно с нею борется. Их стараются изолировать, сажают «в одиночку», не дают друг с другом (общаться): тогда как (на мой взгляд) им надо бы было дать обкормиться друг другом, говорить и переписываться сколько угодно и, словом, «еще усилить порцию водки». Но вернуться к делу: революция умрет разом и вся, как только душа человеческая наконец пресытится зрелищем этого монотонного вранья, хвастовства и самовлюбленности.

Она умрет эстетически. Ну, а таковые вещи не воскресают. Людям будет всеобщее гадко глядеть на эту ораву хвастунов, лунов и политических хлыщей. Главное — последнее. «Хлыщ» может играть роль 1/2 века. Но века? Но 500 лет? Нет, нет и нет.

• • •

23.VI.1915

... да русские отучены от дела; от самых форм делопроизводства, управления и т. д.

Бедными гимназистами они покорно сидели на партах и по вызову преподавателя — отвечали выученный дома урок. Студентами — отдыхали, т. е. кутили.

Надеюсь, это не «инициатива к делу».

Потом томительно ждут, «куда их примут». Их принимают из милости и поручают переписывать сперва, а затем по усвоенной в переписке форме — и «самим писать» бумаги. Дальше этого «сам пишет по форме» не идет или очень редко идет дело.

Но управлять, командовать, соображать? Как-то даже странно, чтобы это делал «Алексеев», а не «Гальстрем» или «Якобсон». Гальстрем и Якобсон рождены для этого, а русские решительно рождены «для поручений».

Тут лучшие и счастливые из них еще умеют как-нибудь улыбаться и тогда что-нибудь получают. Или — через женитбу. Тоже устраиваются многие. И даже доходят до «вице-директора» и «помощника управляющего».



Жалкое племя. Не умевшее удержать отечества в руках. Похлопаешь по плечу и скажешь: «Что же, Иван Иванович — тебе осталась еще революция. Сюртучок не помог, авось поможет косоворотка».

Русский переодевается в косоворотку и начинает дико вращать глазами. При встрече с квартальным — злобно и высокомерно на него смотреть.

Только поужинать нечем.

Но может проречь в утешение статью Венгерова и Михайловского на тему «Не имамы zde пребывающего града, но грядущего взыскуем».

\* \* \*

28.VI.1915

...это не столько окно в Европу, сколько размалеванный балкон, на который русские барчуки и барыньки «выпяливаются» перед Европой, — после сна, мордобития, карт и водки «у себя дома», во внутренних апартаментах.

«На Европу смотрели» скорее из Москвы разные «архивны юноши»<sup>49</sup>, издававшие «Европейца»<sup>50</sup> и занимавшиеся Гегелем. Из Петербурга же русские ни на что не «смотрели», а «казали себя», — «насколько мы образованы».

\* \* \*

28.VI.1915

Есть история говорюв, шумов, событий...

И есть история молчания.

— Того, *о чем было промолчано*.

И эта-то — главная.

А «та» — так себе.

\* \* \*

30.VI.1915

— Замолчи, мразь, — мог бы сказать Чацкому полковник Скалозуб. Да и не одному Чацкому, а САМОМУ. Ты придрался, что я не умею говорить, что я не имею вида, и повалил на меня целые мешки своих фраз, смешков, остроумия, словечек: на которые я не умею ничего воистину ответить. Но ведь и тебя если поставить на мое место — то ты тоже не сумеешь выучить солдат стрелять, офицеров — командовать и не сумеешь в критическую минуту воскликнуть: — «Ребята, за мной», и повести полк на штурм, и умереть впереди полка. Почему же я «пас» — раз не умею по-твоему говорить, а ты «не пас», хотя тоже не умеешь сделать, как я? А послушать тебя, то выходит, что я нахожусь в вечном *пассе* перед тобою, как дурак перед умным, как недостойный перед достоинством, почти как животное перед человеком. Какую же ты гадость написал? И какая вообще пакость есть уже самая твоя мысль, намерение и (якобы) идеал. Это есть намерение поставить «слово» выше «дела», превознестись с «умею слово» над «умею дело». Это есть разрушение миров, — опять хаос, — отрицание истории, — ничего. Хуже твоей подлой комедии ничего не выходило из-под человеческого пера: ибо приходили разбойники с зазубренными ножами, а ты разбойник и вор пришел с 12 дюймовой пушкой. Ты пришел с окаяннным гением и на окаяннное дело: — разрушить дома всех честных людей, ибо ведь «домы»-то эти суть дело и работа; и разрушить хозяйство — ибо это тоже ведь не «слово», а дело и трудная забота. Что же ты сделал? Ты очаровал всех и повел всех за собою, — в некоторую пустыню, где негде уснуть и отдохнуть, где палит солнце и некуда спрятать голову, и морозит холод, и негде согреться. Но гений есть гений, и он вечен. Сожри же сам свою комедию, живи и жуй ее, схвати и грызи ее, и вообще, изъев этот яд из наших тел, введи его в свое кровообращение: и живи в вечной муке. Нам есть «вечная память», прочная и любящая, и ее составила кроткая церковь, ни над кем не смеющаяся, и не знающая твоего зубоскальства. Эта «вечная память» — протянута над всеми людьми труда и скромности. Иной памяти мы и не знаем: но нам сказано, что будет какое-то «пламя неугасимое» и в нем «скрежет зубовой». И краем уха мы слышим, что есть где-то такое место. Вот помыслив о нем и взглянув на тебя, мы догадываемся, что «место» создано для тебя и «ты» для места. И предсказано об этом, п. ч. таковые есть в

самом деле, и они предвечно и вечно обречены жить и появляться и устрашать людей и наводить на них тоску.

Наше благословенное царство — не ты.

И ты — не наше царство.

Отыди. Ты не человек. Но место тебе уготовано с дьяволами. Там они почитают твою комедию и повеселятся о ней. А нам ее не надо.

3.VII.1915

\* \* \*

Повалить Достоевского — это замысел революции. Тут Столлнер очень верно определил: *«прогресс»* (революционный) невозможен (в России м. б., везде?), пока мы *не преодолеем Достоевского*. И это — не формально, не потому что Д. написал «Бесов»: нет, *все существо* Д-го простое, доброе, сострадательное, «наше бытовое» (см. генерал Епанчин в «Идиоте», студент Разумихин в «Прест. и наказ.»), нисколько не смеющееся над бытовою Русью, *но эту бытовую нашу Русь страшно уважающее*, — и с тем вместе и слиянно с этим гениально-проникновенное, с зарницами Вечности и Будущего, гениально-критическое, спорящее, диалектическое, — оно совершенно несовместимо с плоско-душной, скверно-мордной, коротенькой и пошленькой революционной. Не в «Бесах», — о, нет! — а в «Я». «Я» Д-го революция встретила упор и отпор. «Я сам революционер» (о, конечно!), воскликнул Д-кий, — и кинулся всем телом и всюю душицею в мелкий ручеек революции; океан впал «в нашу Черную речку» (по провинциям ручейки называются): и ручеек закипел, расплескался и высох... Он чуть-чуть только обмазал телу Д-го, его влаги хватило не «потопить» Д-го, а наружно смочить его. Ведь во всех произведениях *чувствуется*, что Д-кий революционер. Но какой? До — Неба. В этом колоссе революционка Вольтера и Руссо, «энциклопедистов», Дидро, Гельвеция, Гольбаха — раздавлена и осыпается песком, «стекает капелями воды». Достоевский любит и признает Царя. А это другое дело. Чит Царя — это совсем новое. Зовет порядок, гармонию (старец Зосима, «белый дедушка» в «Подростке») — вот! вот! вот поворот!!! «Ткнуть ножом в короля» (Людовик XVI) — это лакейство; «убийцы 1-го марта — это вонючие смерды», — вот! вот! вот! «Не то, не то», — сказал он о революции, плеснул он в лицо или в морду всесветным революционерам, от 1789 года по 1-е марта 1881-го года. «Человечество действительно мечется и ищет лучшего: но *лучше как святого на место подлого*, что действительно *есть* («Прест. и наказ.», Мармеладов): и вы, негодяи, устраиваете *еще подлейшее*, тькая ножом то одного Царя, то другого. Вы все (революционеры) — самолюбцы и честолюбцы, и Наполеон из революции родился потому, что уже и Карно, и Дюмурье, и Мирабо — были «только поменьше» Наполеона. В революции был скрыт иступленный могучий гениальный лакей (Фигаро; «Племянник Рамо» Дидро). Русская святость и восстала на этот «дух зависти и уныния», «дух празднословия»<sup>51</sup>, на этого океанного «Каина» (связь революции с Байроном и байронизмом), скрытого в революции и подземно потрясающего земные пласты. Достоевский первый и впервые в 1789-го года внес новое слово в революцию: но до того огромное, что это слово раздавило всю революцию; и именно оно раздавило в ней *каждого человека* (будущий Наполеон), но существо революции — как *движения и порыва* — оставило. И слово это — не самого Достоевского, не лично его. Он его подслушал в каторге и подслушал в русских монастырях, он разглядел его в Лике Плачущей Богородицы с Младенцем. Революция вся была «холостая с девочками» (Богиня Разума, Шарлота Кордэ, М-ме Сталь, Жорж Занд), и этот-то «холостой быт» ее и сообщил ей безнадежность и отчаяние. Пожалуй — и силу, силу именно холостого отчаянного порыва. Революция течет где-то и как-то параллельно хулиганству; революция есть порыв хулигана сыграть роль героя. Вообще суть революции — что она *не благородна*. Достоевский и преобразует ее (дух русского народа, «от молитвы») в *благородное явление*, отменяя «ножи» и «гильотину» и говоря просто, что «этим ничего не подделаешь» и от этого «никому *лучше* не станет». Он дал в революцию «лучше», — о, наконец-то!! Именно он, именно он сделал, что революция никогда не «разрешится в буржуазию», в «господство 3-го сословия» («Qu'est ce que le tiers état»<sup>52</sup> аббата Сиенса) и европейский полуфранцузский-полужидовский капитализм и банкирство. Весь XIX в. «осекся» и «пролетел мимо» темы семьи (задание» 1789 года:

liberté, égalité, fraternité) — свалившись в яму еще большего, чем было в XVIII веке, оподления. Там были напудренные маркизы и аббаты, здесь появились ожидавшие банкиры, железнодорожники, биржевики и их философия — Конта, Спенсера, и Дарвина, и Маркса. Достоевский, собственно, сталкивает все от 1789 г. до 1881 г., как ошибку, зло, мелочь и недостоинство. Но *двужение* — оставляет. Какое? «Господь поможет!» «На Господа надеемся!» — и бредом, бредом, со *старого-то места снявшись* (главное!!!), бредом терпеливо, будем брести века (может быть) — и все-таки остановимся там, где «Небо и Земля встретятся».

И будут дети около матерей (русская «Божия Матерь»).

И будут родители с детьми (проблема «отцы и дети»).

И будет хозяйство.

Дом. Корова.

И будет Царь — просто как воин (наш Царь уже надел сермягу Солдата).

Будет и «равенство» — праведных.

И «братство» — воистину.

И «свобода» птиц небесных и полевых цветков.

Имущество будет слабо, нетвердо, «общее» — как у братии духовной.

Вот «сестры и братья»...

Тут все мы...

Революция ли это?

— О нет.

Или тут — нет революции...

— О, — есть.

Но все так преобразовано, — что «ничего не узнаешь».



А Столпнер просто «с мелкой душонкой», — и не охватил громадного объема Д-го.



## 8.VII.1915

Многообразный, даровитый, нельзя отрицать — даже гениальный Влад. Соловьев, едва ли может войти в философию по обилию в нем *вертящегося* начала: тогда как философия — прибежище тишины и тихих душ, спокойных, созерцательных и наслаждающихся созерцанием умов. Соловьев же весь б. шум и, нельзя отрицать, — даже суета. Самолюбие его было всепоглощающее: какой же это философ? Он был ПИСАТЕЛЬ — с огромным вливом литературных волнений своих, литературного темперамента — в философию. Он «вливался» в философию, как воды океана вливаются в материк заливами, губами и всяческими изгибами и пенился, и плескался, и обмывал «философские темы» литературным языком и литературною душою.

Это еще более, нежели к философии, относится к его богословию. В нем не было *sacer* и не было *sapiens*. Вот в чем дело.

В КОРНЕ — писатель, один из даровитейших, один из разностороннейших в России. Ему параллели лежат — в Пико-де-Мирандолла, в Герцене. Но какая же параллель ему в Канте или в Декарте? в Беркли или в Маленбранше?

Небо философии безбурно. А у Вл. Соловьева вечный ветер. И *звезды* в этом философском небе — вечны, а «все сочинения» Влад. Соловьева были «падучие звездочки», и каждая переставала гореть почти раньше, чем вы успевали сказать «желание». Что-то мелькающее. Что-то преходящее. Потом это его желание вечно оскорблять — *фуй!* какой же это философ, который скорее ищет быть оскорбленным, или равнодушен к оскорблению, и уж никогда решительно не обидит другого. Его полемика с Данилевским, со Страховым<sup>53</sup>, с (пусть нелепыми) «российскими радикал-реалистами», с русскими богословами, с «памятью Аксакова, Каткова и Хомякова» до того чудовишна по низкому, неблагородному, самонадеянно-высокомерному тону, по отвратительно-газетному языку, что вызывает одно впечатление: «*фуй! фуй! фуй!*»

Проза его, я думаю, вся пройдет. Просто он не будет *читаться*, иначе как для темы «самоу написань диссертацию о Соловьеве». Но ведь так и Пико-де-Мирандолла «еще существует».

Но останутся вечно его стихи... Он как-то сравнил с камнями русских поэтов: помню, «Пушкин — алмаз», «Тютчев — жемчуг». Ему есть тоже какой-то самостоятельный камень, особый, ценный, хороший. «Кошачий глаз»? (очень красивый и без намеков) — топаз? аквамарин? Может быть — красивая, редкая, «настоящая персидская» бирюза? или кроваво-красный (изумруд, что ли? но он, кажется, зеленый)? Не знаю. Я хочу сказать, что в поэзии его положение *вечно и прекрасно*. Оно где-то между Тютчевым и Алексеем Толстым. Но в *некоторых* стихотворениях он даже единственно прекрасен. Между прочим, как он неблагороден и немудр в прозе, — в стихах он и благороден и мудр. Отчего — не понимаю.

---

Между прочим, *лично* он положил на меня впечатление какого-то *ненасытного* завидования, «ревнования» к другим и — оклеветания. Он почти не мог выносить похвалы другому или, особенно если заметит ваше тайное, «вырывающееся» лишь, восхищение к другому. Тут он точно ножницами «отхватывал» у вас едва вырвавшийся кусочек похвалы (о Гилярове-Платонове: слова его, ужасные, если б была правда, что «он был атеист», «ни в какого Бога не верил» и «никакой религии не имел»). Единственно, где он жестко остановил меня, — было о Стасюлевиче (кого я очень не люблю), — и я почти благодарен, что он остановил меня. Иначе впечатление от него (С-ва) осталось бы во мне каким-то сплошным мраком.

Рцы незадолго до своей смерти сказал мне очень меня удивившее слово: «Я все время чувствовал его завистливым, — пока сидел с ним у вас». Удивительно. Рцы очень зорек. Сказал это он мне без моего вопроса, «сам» и как «свое».

Грусть — всегда у меня о С-ве. Я его не любил. Но что он *глубоко несчастен* и каким-то *внутренним безысходным* (иррациональным) несчастием — это было нельзя не чувствовать.

Вот уже скажешь: «Господи! успокой его смятенную душу».

Думаю: у него была частица «тайны» Гоголя и Лермонтова.

---

«Демоничен» он был, я думаю, в высшей степени. Это был, собственно, единственный мною встреченный за всю жизнь человек с ясно выраженным в нем «демоническим началом». Больше я ни у кого не встречал. Все мы, русские, «обыкновенные» и «добрые». А-бы-ва-те-ли и повинующиеся г. исправнику. Вл. Соловьев в высшей степени «властей не признавал», и это было как-то метафизично у него, сверхъестественно; было как-то страшно и особенно. Михайловский, напр., «отрицал власти», и все «наши» вообще находятся с ним «в аппозиции». Ну, это русское дело, русское начало, стихия русская. Дело в том и тайна в том, что Вл. Соловьев, рожденный от русского отца и матери (хохлушка) и имея такого «увесистого» брата, как Всеволод Соловьев, — был *таинственным* и трагическим образом совершенно не русский, не имея *даже иоты* «русского» в физическом очерке лица и фигуры. Он был как бы «подкидыш» у своих родителей, и «откуда его принесли — неведомо». Отсюда страшное отрицание «исправника». Он ничего не нес в себе от русской стихии власти и от русского врожденного и всеобщего «ощущения» власти, хотя бы и «ругаешь». — «А, ты *ругаешь* — значит, я *есмь*», — говорит власть Михайловскому. Соловьеву она не могла ничего подобного сказать: он ее не видел, не знал, не осязал. Как странным образом он «не осязал» и русской земли, полей, лесов, колокольчиков, васильков, незабудок. Как будто он никогда не ел яблок и вишен. Виноград — другое дело: ел. И т. д. Станный. Страшный. Необъяснимый. Воистину — Темный.

---

Отсюда его *расхождение*, напр., со Страховым, Данилевским, Ив. С. Аксаковым, с «памятью Киреевского и Хомякова», — имели особенный и для меня по

крайней мере страшный характер. Он и когда «сходился», «дружил», «знакомился» с ними — ничего к ним ровно не чувствовал; и разойдясь — не чувствовал боли, страдания. «Крови из раны не текло». Страшным и таинственным образом (тут у него сходство с Мережковским) я не предполагаю вообще в нем бытия какой-нибудь крови, и если бы «порезать» палец ему — потекла бы сукровица, вода. А кровь? Не умею вообразить. Вот не сказал ему тогда: «Влад. Серг., — если бы вам порезаться — у вас бы *не вытекло* крови». Уверен: он задрожал бы от страха (и тоски): это *главная его тайна*. Итак, он «разошелся» — ибо никогда не был «с ними», со Страховым, Ив. Аксаковым, Катковым. «Отвалился — не имея *ничего общего*». Как... как... как «василек» и «дифференциальное исчисление», «минута Вечности» и «акционерная компания», как «Конек-Горбунок» и «Веданта» браминов.

Как наш Михайловский с Платоном и Аристотелем.

«И он, отвернувшись, зашагал к старому, подняв воротник», — рассказывает о Ставрогине и его дуэли с Миусовым Достоевский. Собственно, «стрелял» Миусов... А Ставрогин? — Да *его на дуэли и не было*.

Так вот Влад. Соловьев: хоть он «вел полемику» с Данилевским, Страховым, но... *его в самом деле не было тут*, крови его не было, сердца его не было. «Текли чернила и сукровица»... Да и вообще в Соловьеве, вот как и в Мережковском, есть какая-то странная (и страшная для меня) ирреальность. «Точно их нет», «точно они не родились». А ходят между нами привидения, под псевдонимом «Соловьев». Мережковский.

Я тут не умею выразить, «доказать» то, что чувствую с необыкновенною яркостью, упорством. В этом *суть всего*. Я как-то упоминал раз (в афоризмах), что есть странные люди (таинственные), *не оставляющие следа от себя*, физического впечатления, как бы неосозаемые, бесплотные, а только «звенящие», «говорящие», спорящие и почти всегда очень талантливые. Люди «без запаха в себе» — допущу выражение. «Был»: а когда ушел — то «им не пахнет». Пожал руку — а пота его на вашей руке не оставил. «Собакевич-с — это факт». Собакевич — отвратителен: но нельзя же вовсе «без Собакевича в себе», хоть в одном мизинчике, хоть в строении кишок, хоть в чем-нибудь неприличном. Демон-Гоголь знал, что он писал, — когда писал «Собакевича»: он писал вечную, «пока мы на земле», человеческую грубость, человеческую грубость, человеческую физиологичность. «Я съел осетра». Подло. Но, пожалуй, еще подлее, ибо окончательно страшно, когда человек *ничего не ест*, ни даже — маяльнички, ни одной — плотыцы, ниже таракана глотает и мухи. Такой — страшен. «Без Собакевича — страшно». В Соловьеве и не было этой вечно человеческой *суги*, нашей общей, нашей простой, нашей земной и «кровянистой». Тень. Схема. «Воспоминание» о нем есть, а «присутствия его никогда не было». Это очень странно, и опять я умею только сказать, что чувствую и никак не умею доказать.

Люди не тяжеловесные. Люди, ходящие по земле и не вдавливающие в землю свою ногу. Не «воняющие» и «не пахнущие». Непременно он ездит только на извозчике, а не «ходит пешком». — «Влад. Соловьев вышел *прогуляться* и через 1/2 часа будет дома» — нельзя сказать, услышать, невозможно это. Отчего? — Не знаю отчего, а — невозможно. Ровно такой будет жить «в номерах», «гостить у приятеля»: но ни к кому не станет «на хлеба». «Соловьев *харчуется* там-то»: опять нельзя выговорить, и просто этого *не было*. «Соловьев женился», «Соловьев празднует *имянины*», «у Соловьева сегодня — *пирог*»: фу, небылицы!! Он только «касается перстами» жизни, предметов, струн, вашей шеи, ваших губ — как «дух» в «спиритическом сеансе». Уверен, что хотя «влюблены были в него многие», но он никого решительно, ни одной девушки и женщины, не «поцеловал взасос» (бывают такие), и ни одной не сказал, «прикоснувшись губами»: «*Давай — еще!!!*» Надо бы проследить, есть ли у него «восклицательные знаки» и «многоточия» — симптомы души в рукописании и печати. Очень бы любопытно. Но в литературе, я знаю, что он все «плел слова», «сшивал из странный статьи», «силлогизировал», «делал выводы»; но не помню, чтобы раскричался в литературе, разгневался, нагрубил, наговорил резкостей и негодований. «Медленно каплет чернильный яд» — но нигде «укуса», «прванули», — *жизни*.

«И вот завыл волком» (Белинский о себе, о своем «Письме к Гоголю»): этого *ни о чем у себя* не мог бы сказать С-в. У него везде звон фразы, шелканье фраз,

силлогизмы. Точно *не течет речь* (= кровь), а речь — *составлена из слов*. «Слова» же он знал, как ученый человек, прошедший в университет и Дух. Академию. Соловьев усвоил и запомнил множество слов, русских, латинских, греческих, немецких, итальянских, лидийских, — философских, религиозных, эстетических; и из них делал все новые и новые комбинации, с искусством, мастерством, талантом, гением. Но *родного-то* слова между ними ни одного не было, все были чужие...

И он все писал и писал...

И делался все несчастнее и несчастнее...

Нет, господа: о нем надо петь панихиды. «Нашими простыми умиленными русскими голосами». С пра-тадь-яконом. В протодьяконе — вот в нем уж есть ВЕС. «Это-с не из спиритического сеанса».

\* \* \*

## 15.VII.1915

*Открыть* Россию, ее достоинство, ее *честь* — это гораздо труднее в 19..., в 1856—1910 гг., нежели было в 1492 году открыть Америку.

Между тем она есть, эта *честь*.

Кончил гимназию я поздно (дважды оставался) и, оказывается, «должен был взять отсрочку воинской повинности» уже в VIII классе. Конечно, ни о чем понятия не имел. Вдруг дома схватились: — «Василий, сколько тебе лет?» Туда. Сюда. Справки. И назавтра: — «Иди скорее в *Воинское присутствие*».

Старичок-генерал... Взглянув на какую-то бумажонку, которую я ему подал, начал кричать. Я понимаю, что «на меня», и молчу. Еще кричит. И говорит: «Подпишите *задним числом*». Я подписался «задним числом» (ничего не понимаю). — «Смотрите же впредь... Прощайте». Чуть ли даже руку не подал. Прихожу домой. Брат (вместо отца, воспитал нас) и говорит:

— В Австрии, если, отправляя письмо, положить на него по ошибке или неведению марку низшего достоинства, чем следует, — то взыскивается с адресата в *восемь раз стоимость* недодачи. Так же и в прочих штрафных случаях. У нас просто взыщут недодачу. И вот теперь этот случай: ведь можно принять за *уклонение от воинской повинности*, и тогда...

Я не понял, «что». Но вот Бог привел вспомнить, и я так рад.

«Правительство» у нас скорее лениво и неумело. Но оно *принципиально* не «зло», «коварно» и «выжимательно» («выжимают налоги»). Злоупотребления по части «перебрать чужую денежку» мне впервые пришлось встретить в Спб. и среди лиц очень высокообразованных, увы, ученых и литературных (не вру). В провинции служба безукоризненно чиста. Здесь «взять взятку» — самая мысль об этом представляет ужас. Провинциальные чиновники — молодцы: это дело ясное и очевидное.

\* \* \*

## 22.VII.1915

Добро родится только от добра.

Добро никогда не родится из зла.

(*открытие Розанова*).

...Какая надежда! Значит, нечего и «беспокоиться» о социализме, о позитивизме, об атеизме.

«Твори добро». «Все в гору». И не помышляй об остальном.

Какая надежда. Море надежды. Океан надежды. «Все в надеянии» и ничего более не страшно.

Разрушение разрушается уже тем, что оно *разрушение* без всяких твоих хлопот.

24.VII.1915

\* \* \*

Аппетит зла... о, как он ужасен. — Аппетит свар, злобы, раздражения. Но это еще мелочь, и из нее проистекает только обезображенне быта, безобразный быт. Но ведь есть и худшие аппетиты.

Их не видал, не знаю.

Но, Господи: есть и аппетит добра.

У Серафима Саровского был аппетит добра.

(на Габорио<sup>54</sup>),

27.VII.1915

\* \* \*

Фундамент революции лежал несомненно в так называемом «нашем обществе»: без повсеместного и всеобщего сочувствия которого революционеры не позволили бы себе «дохнуть».

Но у них было широкое дыхание. На всю Россию. «Дышали в кислороде». И легкие революции выросли в Геркулеса.

---

Приходится сказать: «в так называемом»... Ибо что же это за общество», не умевшее делать гигроскопической ваты и собиравшееся победить русское правительство, ленивое, чтобы заняться страховым делом в России (*все* страховые общества России суть *не русские*, но почти сплошь германские) и обещающее осчастливить земной шар социализмом.

Внуки Чичикова, Ноздрева, Обломова и Кит Китыча...

Прищемленные сатирой и тем более яростные.

Давно «не читающие Пушкина» и тем более невежественные.

Внук Ноздрева, который не знает, что «Темза» склоняется по 1-му склонению?

Он заявляет, что «Россия никуда не годится»...

О Томас Мор, русский Томас Мор: отчего же ты не пишешь «Русскую Утопию».

\* \* \*

11.VIII.1915

Кто любил Англию — называется Питтом, а кто любит Россию — называется «потреотами», черносотенниками, зубрами. Правда, к ним причисляются Пушкин, Одоевский, Тютчев. Но Тютчеву уже «срезал голову» Мережковский, Пушкина растолковывает на университетских семинарах Семен Венгеров, а биографию Одоевского<sup>55</sup> изучает и рассказывает позитивный профессор Сакулин, «Мовчим бо благоденствуем»<sup>56</sup>.

\* \* \*

17.IX.1915

...с гимназических лет, как что-то заученное (но это не заучено), мы повторяем: «Пушкин, Лермонтов, Гоголь»... Гоголь — третьим. Лермонтов сейчас за Пушкиным, Лермонтов — второй поэт, вторая сила...

Лет 6 назад я раскрыл было «Гер. н. времени», «Дневник Мери», и не мог просмотреть более 2-х страниц: до того пахло ходульностью, риторикой и пустяками. И из «Гер. н. вр.» поистине остается одно великолепное заглавие. Но там же его «Фаталист», «Бела», «Максим Максимыч» — чудесны. А стихи и *все* до сих пор чудесны и, значит, *вечны*...

«Пала звезда с неба, недогорев, недолетев». Метеор. Из космической материи, вовсе не земной, — но упал на землю, завалился в канаву, где-нибудь в Сибири: и ученые, подходя, — исследуют, не понимают и только в «Музее мерт-

вых вещей» наклеили этикетку: «Метеоричное тело. Весом 7 пуд. 10 ф. 34 золотника. Состав: железо, углерод, фосфор» etc.

Бедные ученые.

Бедные мы.

Я всегда думал: доживи он *хоть этот год* до конца, 1832<sup>57</sup>, кажется. А если бы этот год и *еще один следующий* (один год!! только 12 месяцев!! — Боже, отчего же Ты недоотянул??? отчего языческие парки перерезали нить?) — он бы уже поднялся, как Пушкин, до высоты его — и сделал бы невозможным «Гоголя в русской литературе», предугадав его, погасив его *à priori*.

То, что мы *все чувствуем и в чем заключается самая суть*, — это что Лермонтов был сильнее Пушкина и, так сказать, «урожденнее — выше». Более что-то аристократическое, более что-то возвышенное, более божественное. В пеленках «архирей», с пеленок «уже помазанный». Чудный дар. Чудное явление. Пушкин был немощко *terre-à-terre*, слышимо уж «русский», без иностранного. Это мило нашему сердцу, и мы гордимся и радуемся: но в глубине-то вещей, «когда русский *без иностранного*» — и по сему качеству излишнего русизма он даже немощко не русский. Итак, *terre-à-terre*, и мундир камер-юнкера, надетый на него какою-то насмешкой, выражает втайне очень глубоко и верно его *terre-à-terre*-ность. В Лермонтове это прямо невозможность. Он слишком «бог», — и ни к Аполлону, ни к Аиду чин камер-юнкера неприложим...

Но все умерло. Разбилось. «Метеор так мал. Всего 7 п. 10 ф. 24 золотника».

*Материя* Лермонтова была высшая, не наша, не земная. *Зачатие* его было какое-то другое, «не земное», и, пища Тамару, и Демона, он точно написал нам «грех своей матери». Вот в чем дело и суть.

Поразительно...

Чего мы лишились?

Не понимаю. Рыдаем. И рвем волосы...

— Горе. Горе. Горе.

Ну, а если «выключить Гоголя» (Лермонтов бы его выключил) — вся история России совершилась бы иначе, конституция бы удалась, на Герцена бы никто не обратил внимания, Катков был бы не нужен. И в пророческом сне я скажу, что мы потеряли «спасение России». Потеряли. И до сих пор не находим его. И найдем ли — неведомо.

• • •

## 20.IX.1915

...очень возможно. В «чем-то», в таинственной субъективности, в таинственной теплоте, в манере, в «подходце» Достоевский выразил *суть русской души*. Не просто «суть», а «суть суетей». Что-то голодное. Что-то холодное. Ангельское. Жуликоватое. «Толкуют, конечно, *Алокалиписиса*» и по мелочам воруют. Тут и сквернотца.

Это жметесь русский люд к Светопреставлению.

— Будет аль не будет? «Воскреснет» наш-то Христос, аль «не воскреснет».

Говорят — жупелы будут, огонь с неба посыплется.

Ну и прочее в таком роде и стиле.

Хорошо (пожалуй, скверно). Так я «во всей свободе» насколько *раскрылся*, настолько выражаю *суть русской души* и с тем вместе выражаю *суть того, что о русских говорил Достоевский*. Это очень возможно: но не становиться же мне немцем ради того, чтобы не походить на героев Д-го. Ведь все русские писатели (этого нельзя скрыть) — немощко немцы или экипированы по-немецки. Но как только «все снимешь» (я, «Уед», «Оп. л.») — станешь непременно «как из Достоевского», т. е. просто «русским».

Тут мне ни порицания, ни укора, ничего. Я «просто русский» (величайшая честь) и, «следовательно, из Достоевского».

Гений Д—го фантастичен, капризен и случаен в сюжетах, героях, в темах. *Не в них вовсе дело*. Достоевский мог бы быть и нигилистом, отрицателем (и тогда бы он придал революции чудовищную силу, непобедимость). Вообще он мог бы быть совершенно иных убеждений и остался бы все же *Достоевским*, сохрани эту теплоту, интимность и манеру. Суть именно в ней и даже не столько в манере, сколько в *теплоте и интимности*. Мордвинова (курсистка, переписчка со мною) гениально воскликнула: «Он — мой», и ничего не прибавила. Я чувствовал это еще интимнее: «Он — я». В VI кл., взяв книгу на Рождество, я начал читать «Пре-



ступл. и наказание» и читал всю ночь до 8-ми часов утра, когда кухарка Александра внесла в мою комнату дрова топить печь (Рождество, морозы) — я чувствовал, как бы пишу это я сам, до такой степени «Достоевский писал мою душу». Но тайна заключается в том, что он писал вообще русскую душу, и русский, оставаясь «собой», не может остаться «вне Достоевского». Несомненно, Родиона (Раск.), Разумихина, Дуни, мамыши (ее), подлеца Лужина, Свидригайлова, Петра Петровича (судебн. след.), пьяненького Мармеладова и его Екатерины Ивановны, Сони — этих всех лиц, казалось бы, да и действительно фантастических — никогда не было, нет и не будет у немцев, англичан, французов, итальянцев, голландцев, испанцев.

«Это наш табор. Это русские перед Светопреставлением». Дрожат. Корежатся. Ругаются. Молятся. Сквернословят.

«Это — наши».

Д—го я лет 20 ничего не читал. Знаю. И главное — знаю его метод. Этот метод — субъективность и теплота, но «с походочкой». Как русский станет «таким», т. е. «собой», — он будет «из Достоевского».

Это тайна, могущество и гений Достоевского. Величайшая его честь, единственная в русской литературе. И м. б., в словах, сейчас говоримых, я впервые раскрываю, в чем же «суть» Д—го, где его «главное». Его «главное» — все мы. Русский человек. Русская душа.

Ведь, в сущности, все, и Тургенев, и Гончаров, даже Пушкин — писали «немецкого человека» или «вообще человека», а русского («с походочкой» и мерзавца, но и ангела) — написал впервые Достоевский.

Ведь я чувствую, что вся литература русская притворяется, а поцарапай ее — она, в сущности, «Розанов». И писали бы то же, что я, только не смеют.

Не смеют не притворяться. Не решаются не притворяться. Это страшно, но так.

Но притворство пройдет. И все станут «Розанов», «из Достоевского». Вот и все.

(читаю «Бобок», Лукиана, из «Бирж. Вед.»<sup>58</sup>).

И ты, Лукиашка, ломаешься, а, в сущности, «три месяца уже разложился» и только «бобок». Вот ты и написал статью, где просто бормочешь: «бобок». «А что такое бобок — никто не понимает» (Дост.).

Холодно, странничек, холодно.

Голодно, странничек, голодно.

Эти 2 строки Некрасова, пожалуй, стоят всего Достоевского и изрекли в 2-х строках то, что он изложил в 14 томах.

\* \* \*

20.X.1915

Дана нам красота невиданная.

И богатство неслыханное.

Это — Россия.

Но глупые дети все растратили. Это РУССКИЕ.

## КОММЕНТАРИИ

Фрагменты из неопубликованной книги В. В. Розанова «Мимолетное. 1915 года» печатаются впервые по автографу, хранящемуся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (фонд 249, картон 5). Эта книга является своего рода продолжением сочинений Розанова, принесших ему широкую известность: «Уединенное» (1912). «Опавшие листья» (коробы I и II, 1913 и 1915), в которых в форме записанных «случайных мыслей» выражены философские, религиозные, этические, литературно-художественные и исторические представления писателя, его размышления о России и русском народе, составляющие основу его мирозерцания. Публикация и комментарии подготовлены А. Н. Кололюкиным.

<sup>1</sup> Перефразировка строк из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России» (1831).

<sup>2</sup> Роман Андрея Соболя (1888—1926), печатавшийся в «Русской мысли» с января 1915 г.

<sup>3</sup> Величина, которой можно пренебречь (*лат.*). Выражение французского философа и математика Б. Паскаля (1623—1662).

<sup>4</sup> Государство — это я (*франц.*). Слова, сказанные юным королем Людовиком XIV 13 апреля 1655 г., перед верховным судом Парижа.

<sup>5</sup> Розанов преподавал в прогимназии в Брянске с 1882 по 1887 г.

<sup>6</sup> Имеется в виду революционерка Вера Николаевна Фигнер (1852—1942).

<sup>7</sup> В речи, произнесенной на банкете, устроенном 25 ноября 1913 г. всероссийским Литературным обществом в честь прибывшего в Петербург бельгийского поэта Эмиля Верхарна, Д. С. Мережковский сказал: «Чтобы жить, мы, русские, должны надеяться. Вот почему Россия — страна великой бесконечной надежды. Наше прошлое печально; может быть, еще печальнее наше настоящее. Но у нас есть будущее». В декабре 1913 г. Верхарн выступал с лекциями в Москве.

<sup>8</sup> Розанов переписывался с курсисткой Верой Мордвиновой, высоко ценил ее письма и хотел подготовить их к печати со своими примечаниями.

<sup>9</sup> Розанов, очевидно, имеет в виду «процесс 193-х» (1877—1878) над революционными народниками (28 приговорены к каторге, 90 оправданы, остальные сосланы). В одной из записей в «Мимолетном» от 30 апреля, близкой к настоящей записи, Розанов упоминает «процесс 193-х».

<sup>10</sup> После этого... до этого (*лат.*).

<sup>11</sup> Выражение «читатель — друг», популяризированное М. Е. Салтыковым-Щедриным («Мелочи жизни», 1887), встречается в 1877 г. у Н. А. Некрасова («Вам, мой труд ценившим и любившим...»).

<sup>12</sup> Речь идет о книге Д. С. Мережковского «Две тайны русской поэзии: Некрасов и Тютчев» (Пг., 1915).

<sup>13</sup> 25-летие газеты «Новое время» отмечалось 28 февраля 1901 г.

<sup>14</sup> Выходивший в 1902—1905 гг. в Штутгарте журнал под редакцией П. Б. Струве (отчество которого Р. обычно писал: «Бернардович»). В России распространялся нелегально.

<sup>15</sup> Героиня одноименного романа А. В. Амфитеатрова.

<sup>16</sup> Имеется в виду разговор Петра Верховенского с Кирилловым незадолго до самоубийства последнего (*Ф. М. Достоевский. Бесы. Ч. III. Гл. 6. § 2*).

<sup>17</sup> Гимназистом Розанов был под влиянием идей нигилизма и атеизма, но с 1-го курса университета «перестал быть безбожником, и Бог поселился во мне» (Автобиография, 1909).

<sup>18</sup> Сборник статей Мережковского «Грядущий Хам» издан в 1906 г.

<sup>18a</sup> Речь идет о М. М. Стасюлевиче (1826—1911), профессоре Петербургского университета, издателе-редакторе «Вестника Европы» в течение 43 лет (1866—1909).

<sup>19</sup> Эсер-террорист П. В. Карпович (1875—1917) 14 февраля 1901 г. смертельно ранил Министра народного просвещения Н. П. Боголепова (1846—1901). Министр внутренних дел В. К. Плеве убит террористами в 1904 г., а министр внутренних дел Д. С. Сипягин — в 1902 г.

<sup>20</sup> Трилогия Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» состоит из трех частей: «Юлиан Отступник» (1895), «Леонардо да Винчи» (1899—1900), «Петр и Алексей» (1905).

<sup>21</sup> Статья Мережковского «Суворин и Чехов» в его книге «Было и будет. Дневник. 1910—1914» (Пг., 1915) первоначально была напечатана в газете «Русское слово». 1914. 22 января.

<sup>22</sup> Гаррис — псевдоним журналистки Марии Александровны Каллаш.

<sup>23</sup> Перефразировка концовки «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя.

<sup>24</sup> Моя вина... наша вина... человеческая вина (*лат.*).

<sup>25</sup> В июле 1904 г., в годовщину канонизации Серафима Саровского. Розанов с семьей ездил в Ярославль и Саров. Таня (1895—1975) — старшая дочь писателя.

<sup>26</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса, в которой речь идет о Ф. Лассале (1825—1864), была опубликована в Штутгарте в 1913 г. Маркс весьма резко отзывался о Лассале: «Воздух должен быть очищен, а партия избавлена от оставленного Лассалем зловония» (3 февраля 1865). На русском языке напечатано в журнале «Современный мир». 1914. № 5, 10, 11.

<sup>27</sup> «Письма из Шлиссельбургской крепости» народника Н. А. Морозова (1854—1946) печатались в «Вестнике Европы» (1909), а в 1910 г. вышли отдельным изданием. Морозов занимался также астрономией.

<sup>28</sup> А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828).

<sup>29</sup> А. С. Пушкин. Брожу ли я вдоль улиц шумных... (1829).

<sup>30</sup> «Полтава» Пушкина была издана в качестве литературного пособия для средних учебных заведений под редакцией и с примечаниями В. Я. Стоюнина (СПб., 1880. 4-е изд.). Такое же издание пушкинского «Скупого рыцаря» вышло в 1873 г. (2-е изд., 1879).

<sup>31</sup> Розанов преподавал в прогимназии города Белый Смоленской губернии в 1891—1893 гг.

<sup>32</sup> Ф. М. Достоевский. Письмо студентам Московского университета 18 апреля 1878 г. (Т. 30. Кн. I. С. 21—25).

<sup>33</sup> Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1877 г. (ноябрь, гл. 3). Далее цитируется «Дневник писателя» за март 1877 г. (гл. II, § 3).

<sup>34</sup> П. А. Столыпин, но возможно прочтение: А. С. Суворин.

<sup>35</sup> 17 октября 1888 г. в Борках около Харькова произошла катастрофа императорского поезда. Царская семья, возвращавшаяся из Ялты в Петербург, не пострадала.

<sup>36</sup> В. К. Дебогорий-Мокриевич. Воспоминания. СПб., 1906. Гл. 7.

<sup>37</sup> Верочка — В. Н. Фигнер.

<sup>38</sup> Ф. И. Тютчев. О чем ты воешь, ветр ночной?.. (1836).

<sup>39</sup> Так именовал Розанов публицистку Екатерину Дмитриевну Прокопович (в первом браке Кускова, 1869—1958).

<sup>40</sup> В первом коробе «Опавших листьев» (1913) Розанов утверждал, что в сочинениях К. Н. Леонтьева «нет совета и мудрости».

<sup>41</sup> Письма К. Н. Леонтьева к А. А. Александрову (1861—1930) вошли в книгу: Александров Анаг. Памяти К. Н. Леонтьева. — Сергиев Посад, 1915.

<sup>42</sup> Перефразировка строк из стихотворения Я. П. Полонского «Бэда-проповедник» (1841).

<sup>43</sup> Герцогиня Мари Тереза Ламбаль (1749—1792) — любимая придворная дама королевы Марии Антуанетты. Растерзана толпой в дни сентябрьского террора 1792 г., голова ее была поднесена на пике к окнам Тампля, где находилась в заключении королевская семья.

<sup>44</sup> Ответ юродивого старца Салоса Николы Ивану Грозному приведен в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина (Т. IX. Гл. 3).

<sup>45</sup> «Размышления о прусской монархии» (франц.) — книга графа О. Г. Мирабо (1749—1791) «О прусской монархии при Фридрихе Великом» (Лондон, 1788).

<sup>46</sup> А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года. Гл. 2.

<sup>47</sup> Повесть Н. С. Лескова «Русское тайнобрачие» опубликована в 1878—1879 гг.

<sup>48</sup> «Рассказ неизвестного человека» А. П. Чехова опубликован в 1893 г. в «Русской мысли» и вошел в его Сочинения, изданные А. Ф. Марксом.

<sup>49</sup> А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VII, 49.

<sup>50</sup> Журнал «Европеец» издавался в 1832 году И. В. Киреевским.

<sup>51</sup> Из великопостной молитвы Ефрема Сирина, поэтическое переложение которой принадлежит Пушкину («Отцы пустынноики и жены непорочны», 1836).

<sup>52</sup> «Что такое третье сословие?» (франц.) (1789) — трактат французского аббата Э. Ж. Сьейса (1748—1836), изданный по-русски в 1906 г.

<sup>53</sup> Статьи В. С. Соловьева против концепции «культурно-исторических типов» Н. Я. Данилевского вызвали ответные статьи Н. Н. Страхова и других славянофилов. Впоследствии Соловьев собрал и напечатал свои полемические статьи против славянофилов в книге «Национальный вопрос в России» (1884—1891).

<sup>54</sup> Детективные романы французского писателя Эмиля Габорно (1832—1873) пользовались популярностью в России конца XIX — начала XX вв.

<sup>55</sup> Имеется в виду книга: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель. М., 1913.

<sup>56</sup> Т. Г. Шевченко. Кавказ (1845).

<sup>57</sup> М. Ю. Лермонтов погиб в 1841 г.

<sup>58</sup> «Биржевые ведомости» 16 августа 1915 г. Лукиан — псевдоним С. М. Любошица (1859—1926).

# ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ В. В. РОЗАНОВА

---

---

Н. П. БАРСУКОВУ

Глубокоуважаемый Николай Платонович!

В прилагаемом N Бирж<евых> Вед<омостей> на 2-й стр. под заглавием «Палеограф» Вы найдете статейку о себе<sup>1</sup>. Но, почтенный и высоколюбимый мой, хотя более «мечтаемый», чем видимый, друг — у меня к Вам просьба, и ее мне внушили Ваши слова о Бычкове в брошюре о Костомарове и Майкове. Будьте для меня «Бычковым»<sup>2</sup>. Я всегда встречаю такой Ваш светлый взгляд при встрече, что в глубокой тайне (даже от братьев Ваших) пишу вам «Моление Даниила Заточника»<sup>3</sup>: при огромной Вашей связанности чуть не со всем учено-литературным Петербургом, нельзя ли мне устроиться «по ученой части», отойдя от «счетно-контрольной». Сейчас сообщу Вам свой curriculum vitae:

в 82 году окончил курс по филологическому факультету Московского университета;

с 82 по 93 — учитель гимназии по истории и географии;

с 93 по 98 — чиновник особых поручений VII класса при Государственном контроле (номинально и фиктивно), откомандированный для занятий в Департамент железнодорожной отчетности (фактически: ревизия счетов и, конечно, воровство подрядчиков при постройках железных дорог).

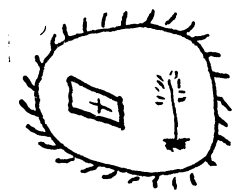
С Терт. Ив. Фил<иппо>вым, коему я не судья, — мы моментально и с первого взгляда не понравились взаимно. Он мне — по отсутствию простоты и естественности, по походке, по всей совокупности манер; я ему — не знаю по чему<sup>4</sup>. Он моментально меня забыл, а когда у меня дочь помирала воспалением мозга<sup>5</sup>, а за безденежьем мы даже отпустили кухарку, и жена, страдающая женскою болезнью, стала сама к плите, а самовары ставил и в то же время больного ребенка держал на руках я — я, перемогая застенчивость, попросил у него прибавки к 100 р. ежемесячных (это семейный человек, и после 150 р. в провинции) — он сказал: «Я вам последнее отдал» (т. е. это жалованье 100 р., оклад 1200 р.). Эта жестокость его так меня поразила, что «отпало мое сердце от него». Только случайно пришла к нам жена генерал-контролера Васильева<sup>6</sup> и увидела весь ужас положения — то понудила мужа сказать Терт. Ив., и была сделана мне прибавка — получаю я 150 р. в месяц, сумма, равная учительскому в провин-

ции, и могу существовать (жена и 4 детей), только выработывая на газетах и журналах около 100 р. в месяц. В Питере я не купил еще *ни одной* книги — и это Вам иллюстрация к моей аккуратности и нужде. Но сверх сего — Вы знаете чиновников: не благоволит высший начальник, и все посредствующие уже грызут. Писать? Но вот я Вам прилагаю письмо-ответ Грота: я окружен и в литературе глубокой ненавистью. Заслуживаю ли этого — не думаю: во мне есть много любви, и, напр., было много любви к этому самому Московскому Психологическому обществу<sup>7</sup>. Письмо Грота *непрерывно* мне верните: это — документ.

Теперь, мой добрый — я ищу, куда — приклонить голову; ищу ячейки себе; могил...

...Но не хочу, о други, умирать,  
я жить хочу, чтоб мыслить и страдать<sup>8</sup>.

Иногда мысль о смерти овладевает мною; слишком устала душа; сколько любил я, как мало встретил любви. Теперь я весь ушел в семью: только присные меня любили, и жена, и детишки — вот у кого я встретил ласку в глазах и на губах. От неудач в жизни я стал меланхоликом и ипохондрикком: представьте, ночью иногда проснусь и мечтаю — как бы мне устроить могилу; и вот в противность Вашему светлому стремлению к людям (но: мертвых-то ведь и я чту и лобызаю: те из моей бронзы литы) — мне хоть по смерти хочется абсолютно от них огородиться, и я Вам нарисую план часто обдумываемой себе могилы, т. е. я мечтаю:



могила; в ногах невысокое деревцо, чтобы отнюдь не закрывало солнце, солнце да видит лицо мое, пусть усопшее, но я верю в бессмертие. О, если бы и бедная, измученная жена легла со мною в могиле же рядом: но на современных могилах это, т. е. место для двоих, так дорого, что, верно, мы будем разбросаны по разным кладбищам.

А вокруг — кирпичная стена, отлогая..., чтобы не мешать солнцу светить, и верх стены обить гвоздями, да острыми, чтобы ни-ни-ни человеческая неосторожность или любопытство или «поздняя любовь» не нанесла вниманием обиды после смерти<sup>9</sup>. Так-то, мой драгоценный и многотимый: но вот на 20 лет оставшегося «странствия», пока не «приложусь к отцам», мне хочется «приклонить голову». Куда: об этом и вопрос. А Вы широко лбом пораскните, крепко и осторожно обдумайте; и я приду к Вам дня через 3, вечерком, и поговорим. Дерзко писать, но нужно писать: при моей безмерной усталости и утрачивающейся способности к письму — и при четырех детях, и жене с женскими болезнями — непременно нужно 3000 р. жалованья; иначе опять пойдет то же, т. е. та же мука, таскание ложек в ломбард и боязливое оглядывание на квитанциях времени перезалого. Надоело, утомился и, по правде, по великой моей любви «к миру сему» — не заслужил. Я знаю, сколь-

ко ведь есть людей, которые получают же вождеденные 3000 р.<sup>10</sup>. Да еще кстати: ведь мне, чтобы вырваться на миг в Публичную библиотеку — нужно сделать (это в 42 года) мальчишеский обман — написать «рапорт (письмо) о болезни», и я как дурак — живу в Петербурге, не видя его великих духовных сокровищ. Сегодня, в субботу, я так и обомлел, увидя рукописи, т. е. «Список Лаврентия Мниха»<sup>11</sup>, и чудеса (прямо так почувствовать) автографических оригиналов Кантемира, Лермонтова, Ломоносова — письмо к И. И. Шувалову, Карамзина, Державина. Ведь можно слезы пролить, кто понимает это: но, как дурак, я просматриваю и «бью на щетах» работы по прорытию Сурамского перевала. Да, стыдно людям, свергшим меня в такое гноище духовное; некто Рыбаков, пожелав записывать киргизские песни, получил на 3 месяца (из Контроля, по записке Семенова к Терт. Ив.) отпуск, а у меня неодолимая робость (да и знаю, что откажут) попросить отпуск хотя бы для занятий в Публ. библ.

Вы знаете, — последняя чрезвычайно расширена; нельзя ли туда? Какие там оклады? (При семье — это первое). Еще у меня есть мысль: нельзя ли перепроститься чиновником же особых поручений VI класса (я сейчас — VII) к министру народн. просвещения? Таким, кажется, состоит Всеволод Соловьев<sup>12</sup>, и не думаю, чтоб у меня было менее прав на внимание министра, чем у него. Ну вот, дружок, подумайте об этом, «приложите сердце свое» и простите, что я Вас утруждаю.

В. Розанов

---

*Николай Платонович Барсуков* (1838—1906), известный историограф и архивист, был знаком с Розановым с 1894 года по дружескому кругу Н. Н. Стрехова (1828—1896). Из небольшой переписки писателей мы выбрали для публикации письмо, на наш взгляд, самое яркое, отражающее кризисное время Розанова перед поступлением его в постоянные сотрудники «Нового Времени».

Письмо хранится в ЦГАЛИ: ф. 87, оп. 1, ед. хр. 79а, л. 956—958. На письме пометка рукою Барсукова: «Получил 9 февраля 1898 г. СПб.».

<sup>1</sup> *Розанов В. Палеограф*//Биржевые Ведомости. 1898. 24 янв. С. 2. — Рец. на кн.: *Барсуков Н. П.* Воспоминания о Н. И. Костомарове и А. Н. Майкове. — СПб., 1898.

<sup>2</sup> *Бычков Афанасий Федорович* (1818—1899), известный археолог. По рекомендации Н. И. Костомарова определил студента Барсукова в Археологическую комиссию (см.: *Барсуков Н. П.* Воспоминания о Н. И. Костомарове и А. Н. Майкове. — СПб., 1898. — С. 8).

<sup>3</sup> *Даниил Заточник* — предполагаемый автор «Моления», древнерусского текста XII или XIII в. Автор «Моления» жалуется своему князю на свою судьбу, просит его помочь и вместе с тем стремится рассмешить и развеселить князя. Свою бедность, неустроенность автор противопоставит идеальному богатству князя.

<sup>4</sup> См. об этом: Из переписки К. Н. Леонтьева // *Русский Вестник*. 1902. № 10. С. 608, а также: *Розанов В.* Литературные изгнанники. — СПб., 1913. — Т. 1. С. 383—384.

<sup>5</sup> Первая дочь Розанова — Надя — умерла в 1893 г. семимесячным младенцем.

<sup>6</sup> *Васильев Афанасий Васильевич* (1851 — после 1917), публицист, поэт, издатель; непосредственный начальник чиновника Розанова по Государственному контролю.

<sup>7</sup> В «Русском обозрении» (1897. № 5. С. 328—332) Розанов опубликовал статью «1 марта 1881 г. — 18 мая 1896 г.», посвященную гибели императора Александра II от рук террористов и трагедии на Ходынском поле, где по случаю коронации императора Николая II народу традиционно были предоставлены угощения и подарки. Но из-за неумелой организации и большого скопления людей случились жертвы. Розанов в статье проводил вполне мифологическую мысль, что события на Ходынке являются возмездием русскому народу за убийство Царя. Статья Розанова вызвала в Петербурге и Москве крайнее возмущение. В письме Н. Я. Грота к Розанову от 5 февраля 1898 г. (ОР ГБЛ: ф. 249, М 3821) как раз и говорится об «остракизме», которому подвергли розановскую статью в редакции журнала «Вопросы философии и психологии», издававшегося при Московском Психологическом обществе.

<sup>8</sup> См.: *Пушкин А. С.* Элегия (1830).

<sup>9</sup> Фантазию о лелеемой могилке Розанов почти дословно повторил в очерке «Мечта в шелку» (Веды. 1905. № 7. С. 1—8).

<sup>10</sup> В судьбе Розанова в это время очень деятельное участие принимали С. А. Рачинский и М. П. Соловьев. Степень материального угнетения была настолько высока, что Розанов в крайнем истощении физических и душевных сил действительно готовился к худшему исходу. Этому подтверждение — духовное завешание, составленное 15 марта 1899 г. Оно опубликовано в сборнике сочинений Розанова «О себе и жизни своей» (М.: Моск. рабочий, 1990. — С. 703—707). Кризис разрешился переходом Розанова сотрудником в редакцию «Нового времени» (май 1899 г.).

<sup>11</sup> Имеется в виду летопись XIV в., переписанная в 1377 г. монахом Лаврентием по заказу великого князя Суздальско-Нижегородского Дмитрия Константиновича (Лаврентьевская летопись). Список летописи приобрел А. И. Мусин-Пушкин в 1792 г. и подарил императору Александру I (рукопись была помещена в Публичную библиотеку).

<sup>12</sup> Соловьев Всеволод Сергеевич (1849—1903), писатель.

## А. С. ГЛИНКЕ

Я не очень расстроился, дорогой Ал<ександр> Серг<еевич>, историей с «Уедин<енным>»<sup>1</sup>. Правда, я сперва б<ыл> *убит*: «Как я мог это сделать?», «Как мог продолжать *по существу непродолжаемое*?» и этим я затер, смял смысл *Уедин<енного>*: и мне стало печально и страшно, что погубил любимейшее, что (Вы правду пишете Варе<sup>2</sup>) по существу вышло «случайно», «вырвалось нена роком».

Конечно, я печатать больше при жизни ничего не буду.

Но (прошу): перечтите 1-ую страницу «Уедин<енного>»: «Шумит ветер в полночь». Там я пишу, что *в душе*, но — не записалось, или записывались очень редко: и — не печатались (главное).

Это («листки») есть в сущности всеобщая и вечная литература «всех нас». Но никому не приходит на ум печатать. Собственно — новизна — в печатании.

Теперь: почему я стал продолжать (печатать)? Из «случайного» вышло «не случайное». Все изобретение происходит случайно: но ими пользуются и их разрабатывают. Из 5—6—10 писем я узнал, что впечатление «Уед<иненного>» было огромное и именно такое,

какого мне безумно хотелось от литературы, и чужой, и моей; унежить, растрогать, углубить душу; снять с нее «сюртук» (формализм, внешность). Я почувствовал, что *этих* (3—4 женщ<ин>, 5—6 мужчин; и 2 «совсем не моего лагеря», позитивисты и политики, «вольтерьянцы») души *прильнули к моей, слились с моею*.

Это было не «почитание писателя», а — родное. Ну, вот смысл: «Я всегда теперь молюсь о вас и о всех ваших». Это, собственно, гештте и итог: я вошел не в кабинет для чтения, влез не в читальню, а вошел или, вернее, меня позвали в дом, в детскую, в спальню, в молельню. «Это совсем другое дело». И — решил продолжать.

У друзей — всех — получилось неблагоприятное, нехорошее, некрасивое впечатление (от 3-го короба)<sup>3</sup>: но Вы один вполне ясно сказали, отчего: «Вы — <нрзб.>, отравили сами себя своим Уедин<енным>. Флоренск<ий> написал: «Вы наполнили шумом свое *Уед<иненное>*, публицистикой. Получилось рациональное и обыкновенное, чего много на рынке и что вообще никому не нужно». Перцов — еще жестче: «Это похоже на какой-то *повторенный фокус*». Это же ужасно.

Самое «обнаженное»: хорошо, если оно «мелькает», и «нечаянно»: но «*принципиально ходить голым*» — гадко.

Вдруг я почувствовал, что сделал что-то гадкое. И — около большой<sup>4</sup>! с большим!! Меня взял *ужас*. И нельзя не сказать, что я прожил с месяц в душевном ужасе.

Душа плакала. Горько. Долго. Погубить то, что я так любил. Что в сущности единственно любил, глубоко и полно, в своих писаниях.

Но увлекла меня правильная мысль, действительно «способная обмануть автора»: уничтожить деланность; деревянность, формализм души. Сделать, чтобы в мире *интимное души* — победило *внешнее* души человеческой. В этом смысле мне казалось, что именно 3-й т<ом> (Короб 2) — сильнее и «Уед<иненного>» и т<ома> 1 «Оп<авших> л<истьев>».

Но...

Смиримся и исповедуемся:

«Человек предполагает, а Бог располагает».

*Пусть Господь Сам унежит души человеческие.*

Ольге Федоровне — кланяюсь.

Глебушку<sup>5</sup> целую и крещу в постельке.

Читаете ли Вы «Н<овое> Вр<емя>»: на тот случай, что если нет — можете не узнать, что я писал о Святой Руси<sup>6</sup>.

У меня — печально. Варв<ара> Дим<итриевна> опять больна. После более 2-х лет отдыха. У нее 1 глаз почти внезапно перестал видеть, и угрожает то же быть с другим глазом. Все в зависимости от процесса в мозгу. Горе. Горе. Горе.

О Глебушке молюсь, дорог<ой> и милый Ал<ександр> Серг<еевич>. Варе сказал. О Вас обеих она сказала: его и жену его я люблю, помню и если они придут сюда — будут мне к<а>к родные.



Я вчера кончил свое Вам письмо и потом стал разбирать об «Оп<авших> л<истьях>» и «Само», «Само» не понимаю; не умею схватить суть Вашего вопроса. Но об «оп<авших> л<истьях>» Вы мне сказали открытие. Это бесценная услуга друга. Действительно, уединение души моей испорчено, отравлено, повреждено и, наконец, загажено. «Уедин<енным>». И — не им. Оно — невольно. Но вот «Оп<авшими> л<истьями>». Т<о> е<сть>, как только «обрадовавшись сдуру», я начал продолжать «Уед<иненное>». «Уед<иненное>» — возможно, но «Оп<авшие> л<истья>» — уже преступление с самого начала. Я был обманут тем, что каждый листок действительно «сам вырос» и естествен; но *повторять* «Уедин<енное>», т<о> е<сть>, что говорится *раз в жизни*, в ужасной тоске, — превращать чуть не в Дневник, чуть не в журнал — позор, позор. Я «что-то такое» чувствовал. Но «где», «что», — не мог понять. Себя так трудно понять, себя так трудно узреть. Тут входят «яды интеллекта», «духовная прелесть» — и человек гибнет.

Спасибо. Вечное.

Любящ<ий> В. Розанов

---

<sup>1</sup> Письмо написано 23 февраля 1916 г. в ответ на письмо А. С. Глинки (1878—1940), литературного критика, писавшего и печатавшегося под псевдонимом *Волжский*. Отрывок письма Глинки Розанов поместил в «Предисловии» к «Сахарне» (см.: Литературная учеба. 1989. № 2. С. 87 и 118). Розанов отклоняет упреки друзей (свящ. П. А. Флоренский, В. А. Кожевников и др.) в том, что продолжение печатания книг «опавших листьев» исказило почин исключительности книги «Уединенное» (СПб., 1912) в литературе.

<sup>2</sup> Жене писателя — Варваре Дмитриевне.

<sup>3</sup> Все книги «опавших листьев» Розанов произвольно считает по порядку выхода: «Уединенное», «Опавшие листья» (СПб., 1913), «Опавшие листья». Короб второй и последний. (СПб., 1915).

<sup>4</sup> Жена Розанова была постоянно больна с 1898 года.

<sup>5</sup> *Ольга Федоровна* — жена Глинки. Глебушка — сын.

<sup>6</sup> См.: *Розанов В.* Призвание Руси//Новое Время. 1915. 15 января. С. 6. (Рецензия на книгу: *Волжский*. Святая Русь и русское призвание. — СПб., 1915).

Публикация и примечания В. Г. Сукача

# ВОСПОМИНАНИЯ О В. В. РОЗАНОВЕ

---

С. Н. ДУРЫЛИН

## В. В. РОЗАНОВ

Предлагаемые читателю воспоминания и размышления — неопубликованная глава из книги «В своем углу», написанной другом В. В. Розанова известным литературоведом и театроведом Сергеем Дурылиным (1877—1954) и увидевшей свет в 1991 году (изд-во «Моск. рабочий»). Свою книгу Дурылин писал в 1928 году в Томске, где находился в ссылке. Этим, возможно, и объясняется предисловие, которое он сделал (на всякий случай!), чтобы не «повредить» своим ближним: «Не предназначается ни для одного читателя, кроме автора. Никогда никому не читано, не было читано и не будет читано. Все равно, что в голове автора». Поводом для написания С. Н. Дурылиным этой главы воспоминаний явилась книга А. П. Сусловой «Годы близости с Достоевским» (М., 1923). Заглавие дано публикатором.

Летом 1918 г. Василий Васильевич Розанов привез ко мне в Москву из Посада маленький тючок, развернул и сказал: «Вот это прошу Вас отдать куда-нибудь на сохранение. Сберегите. А после моей смерти отдайте моим детям». В тючке были, в больших незапечатанных конвертах, листочки, зачерненные мелким-мелким бисером его, единственного по нежной тонкости и по неразборчивости, почерка: продолжение «Уединенного». Я с радостью, не отрываясь, смотрел на это богатство. Но Вас<илия> Вас<ильевича> занимало что-то другое. Он рассеянно смотрел на конверты с листочками, почти не слушал, что я ему говорил, перелистнул какую-то книгу, лежавшую на столе, — и вдруг, решительно вытянув из внутреннего кармана пиджака какой-то запечатанный конверт, подал мне его и сказал:

— А вот это сберегите; когда умру, соберите Варю, детей, распечатайте, — и прочтите им.

Я принял конверт: он был мят и грязноват.

Сказав то, что сказал, и вручив мне конверт, он ничего не прибавил в пояснение.

Все, что он просил, было исполнено.

Когда он умер, пакеты с листочками были мною переданы его семье, а запечатанный конверт я предъявил Варваре Дмитриевне, собрав Таню, Надю и Александру Михайловну в той маленькой комнате в доме Беляева на Красюковке, которая служила столовой и была рядом, дверь в дверь, с комнатой, где он умер.

Я распечатал конверт и выложил на стол все, что там было: две, помнится, небольшие записные книжечки в клеенке, два-три листочка, — и старое, пожелтелое письмо... Книжечки мы перелистовали: там были какие-то незначущие или нам показавшиеся

ся такими, записи, пометки делового характера, немало пустых страниц... Ничего в них не было такого, что объясняло бы их присутствие в запечатанном конверте, назначенном к посмертному вскрытию. Книжечки принесли недоумение. Зачем их было запечатывать? В это время Варвара Дмитриевна взяла пожелтевшее письмо, — и только глянула — воскликнула:

— А! Вот это... — и протянула мне:

— Читайте.

Я стал читать вслух. Почерк был Вас<илия> Вас<ильевич>ча, но несравненно четче, чем знакомый мне: было видно, что письмо, — или, точнее, то, что я читал, — было написано много лет назад...

Я читал — и дух останавливался.

Это был рассказ о первой женитьбе В. В. на Аполлинарии Прокофьевне Суловой, любовнице Достоевского, о их супружеской жизни и о конце этой жизни — и, главное, о том, что вынес в этой жизни Вас<илий> Вас<ильевич>. Рассказ был написан, надо думать, в самом начале 90-х годов — и в определенное время: тогда, когда Вас<илий> Вас<ильевич> был уже женат на Варваре Дмитриевне. Рассказ весь строился по контрасту: что было тогда, при Суловой, и что стало *теперь*, когда при нем В. Д. О «теперь» он, впрочем, ничего в письме, сколько помню, не говорил: «теперь» — это было глубокое, полное счастье. Это было счастье в онтологии, если можно так сказать, счастье от корня бытия, счастье от «лона Авраамова», полученное от «Бога Авраама, Исаака и Иакова». В счастье этом с В. Д. открывалась вся та нежность, успокоенность и глубина родовой мудрости, которые всегда видел в таком счастье В. В., как писатель. Когда писалось то, что я читал, этим счастьем в онтологии В. В. обладал и насыщен им был, как библейский старец — днями, — и вдруг, как отошедшая ужасная боль, припомнилось ему в «лоне Авраамовом» то, что до безумия противоположно было этому лону и в чем он жил шесть лет: счастье из глубин онтологии представляло ему до ясности недавнее «счастье», искомое в психологии, — и какой еще! В «психологии» бывшей любовницы Достоевского, 40-летней женщины, про которую можно было бы повторить евангельские слова: «У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». В. В. ранее рассказывал мне как-то, что женился на Суловой потому, что она была любовницей Достоевского. Это был брак «от психологии», брак по Достоевскому, — но совсем не по Розанову, не по автору «Семейного вопроса» и «В мире неясного и нерешенного». Брак — из романа Достоевского, а не из лона Авраамова. Она была старше его на 16 лет: она уже сильно «пожила», — не только с Достоевским, но (знал ли это В. В., когда женился?) и с нигилистами, и с иностранцами, и с красивыми испанцами. Об этих «испанцах» в письме не было, это я знаю уже из книги, заглавие которой написано выше, но в письме было яркое, мучительное до боли, просто стонущее, противопоставление того, что Розанов искал и что

нашел в 40-летней даме с нигилизмом. Романтика: «та, кого любил Достоевский!» — оборвалась, психология по Достоевскому вдруг обернулась психологией тончайшего, непрерывного женского мучительства. Произошло недоразумение, идущее до глубины, расщепляющее самую жизнь: несмотря на «романтику», на «Достоевского», он-то искал брака не по психологии, а по онтологии, а сам оказался в плену у брака по психопатологии. Вместо греющего добрую плоть нежной семейственности «Бога Авраама, Исаака и Иакова» оказалось озлобленное безбожие шестидесятиницы с постелью «принципиально» бездетной; вместо возлюбленной и нежной — озлобленная, умная, как бес, и злая, как бес, полунигилистка, полу-Настасья Филипповна (из «Идиота»), кому-то и чему-то непрерывно мстящая; вместо чаемой «колыбельной песни» в спальне раздавался психопатологический визг стареющей, ломаной и ломающейся женщины — «непрерывным раздражением» пленной мысли, озлобленной души, стареющей плоти. Начался ужас. Этот ужас сквозил в каждой строке, в каждом слове, в каждом вздохе этого письма, — и я не могу лучше и точнее выразить этого ужаса, как сравнением: тот, кто хотел возлежать, как герой «Песни песней», на нежном и плодящем лоне, входящем в неистощимое, присно рождающее и святое лоно Авраамово, тот оказался прикованным к колющей постели стареющей, бесплодной, чувственной и истеричной нигилистки, мстящей Достоевскому, как Грушенька своему покровителю...

Течение письма прерывалось восклицаниями: «Она измучила меня! Она ненавидела меня!»<sup>1</sup> (Достоевский предупреждал ее: «Если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа»)\*.

Теперь, когда с ним была Варвара Дмитриевна, все это видел В. В. и мог кричать это ей с особой силой, так как в Варваре Дмитриевне он нашел то нежное, пробуждающее мудрость и дающее покой — лоно, которого искал и у той, но нашел нигилистические иглы вместо лона.

Письмо было потрясающее. Любовь и ненависть, благословения и проклятия сплелись в нем. В нем был крик спасшегося от гибели, крик с берега, — волне, которая только что была, хлестала его, чуть-чуть не разбила о камень, и вот он все-таки выбрался на берег, жмет к тихому и теплому лону земли, а волне шлет проклятья.

Когда чтение было окончено, Варвара Дмитриевна — земля с тихим и теплым лоном — приняла у меня письмо, — заплакала — тихо и кротко.

Все молчали.

Мы поняли все смысл этого загробного чтения: В. В. хотел, чтобы и дочери его знали, кто был бьющей о камень волной и кто был прекрасно-творящей землей в его жизни.

---

\* *Суслова А. П.* Годы близости с Достоевским. — М., 1923. С. 129. (Далее в тексте указаны в скобках только страницы из этого издания. — *Прим. публикатора*).

Что случилось с этим изумительным письмом (гениальным с точки зрения словесности), я не знаю.

Много лет спустя, уже в середине 900-х гг. В. В. во второй раз рассказал о Сусловой уже в письме к чужому — к биографу Достоевского А. С. Волжскому<sup>2</sup>.

Теперь вот книга вышла о Сусловой. Все это и вспомнилось. О Розанове в ней говорится, что он «один из лучших истолкователей (Достоевского), потому что был он во многом ему конгеннален» (с. 5). В примечании (с. 173) сказано о Р., что он «талантливейший публицист, критик и мыслитель», отец целой школы истолкователей Достоевского, но что он же «представляет собою удивительную смесь различных черт как положительных, так и отрицательных героев Достоевского», и в «Н. Вр.» писал «ради высшего гонора не редко то, во что сам не верил» (с. 173).

Показания В. В. о Сусловой все берутся автором под сомнение, все почти отвергаются, т. к. В. В., «по-видимому, всю жизнь испытывал к Сусловой глубочайшую ненависть в соединении с неискоренимым восхищением» (с. 7). Последнее вовсе несправедливо: ни в конце 90-х, ни в 900-х гг. не было никакого «восхищения». «Ненависть» же была понятна: она ему, безвинному, мстила тем, что в течение почти двух десятков лет ни под каким видом не соглашалась на развод, так что дети его от второй жены долго не могли носить его фамилию» (с. 41). Долинин\* не знает, что для Розанова это несогласие этой дамы на развод грозило ссылкой в Сибирь: он не просто *жил* с Варварой Дмитриевной и имел от нее детей, которые не могли носить его фамилии. Это было бы полбеда. Дело в том, что В. В. был *тайно обвенчан в церкви* с Варварой Дмитриевной. Если б это открылось (Победоносцев знал это, но, по благородству своему, молчал), Вас. Вас., как двоеженец, подлежал бы не только церковным, но и гражданским карам — разлучению с женой, с детьми и ссылке на поселение. Когда детей надо было отдавать в школу, а они были без фамилии отца, Бутягины, а не Розановы, Тернавцев поехал в Крым убеждать Сулову дать Вас. Вас. развод. Вернулся ни с чем и сказал: «Это не баба, это — черт в юбке!» Вас. Вас. соглашался с женой Достоевского, что Сулова была «цинична». Этот цинизм и чувственность, сопровождаемые злобной, мечущейся серостью души и жизни, преисполняют ее «Дневник». Даже сам защитник ее должен признать, что после разрыва с Достоевским ее постигает «падение»: «катастрофическое понижение всего диапазона ее душевных переживаний, *ставших вдруг* (! конечно, всегда и бывших. — С. Д.) какими-то маленькими и мелочными»; «явно ощущаемая пошлость, которая проявляется теперь в ее отношениях с окружающими ее людьми» (с. 33). На этом тягостном фоне «мелькают, точно серые сумеречные тени, лишённые яркости и глубины, эги слабо очерченные фигуры, герои романа на час, игру в любовь с которыми она подробно описывает» (там

\* А. С. Долинин (1880—1968) — литературовед, автор предисловия к книге А. П. Сусловой «Годы близости с Достоевским» (*прим. ред.*).

же). «В той плоскости, в которой она ими интересуется (чувственной! — С. Д.), они (ее «безымянные героини» — С. Д.) ведь так похожи друг на друга, затушеванные под своей национальностью (валлах, грузин, англичанин, француз) или под профессией (лейб-медик), — она попеременно дарит свое внимание каждому из них» (с. 34).

Но злобствует она на них, на этих мимолетных валлахов и испанцев своих, не меньше, чем на Розанова: «Знаю, что пока существует этот дом, где я была оскорблена<sup>3</sup>, эта улица, пока этот человек пользуется уважением, любовью, счастьем, — пишет она в дневнике (с. 77, 7 января 64 г.), — я не могу быть покойна... Я была много раз оскорблена теми, кого любила, или теми, кто меня любил, и терпела... но чувство оскорбленного достоинства не умирало никогда, и вот теперь оно просится высказаться. Все, что я вижу, слышу каждый день, оскорбляет меня, и, мстя ему, я отомщу им всем. После долгих размышлений я выработала убеждение, что нужно делать все, что находишь нужным. Я не знаю, что я сделаю, верно только то, что сделаю что-то. Я не хочу его убить, потому, что это слишком мало. Я отравлю его медленным ядом, я отниму у него радости, я его унижу» (с. 77).

Эти фуриозные строки объясняют ее всю. Все это она хотела сделать с изменившим ей испанцем Сальвадором, ради которого она изменила Достоевскому, — но с испанцем сделать этого ей не удалось, а удалось сделать с Розановым. Еще в 1886 г. Розанов просил у нее развода, она отказывала, что явствует из письма к ней графини Салиас: «Смотрите, чтобы этот муж, которого *вы насильно желаете быть женой*, не наделал вам бед» (с. 43).

Но бед наделал не он ей, а она ему.

История очень проста.

Когда В. В. нашел свою Рахиль, свою Варвару Дмитриевну, он понял, что с нею нашел он свое гениальное писательство, нашел себя, счастье свое и семью, — но, обретши Рахиль, понял также, что до Рахили у него была не кроткая, хотя и не любимая Лия, а неистовая Медея. Муки от Медеи, претерпленные Иаковом, всегда мечтавшим иметь нежную возлюбленную Рахиль, — вот — в свете книжки о Сусловой — все содержание того письма, которое я читал по воле В. В. самой этой Рахили и чадам ее, когда уже самого Иакова не было в живых.

Медея — на то она и фуриозная особа — не могла перенести, что оставивший ее Иаков счастлив со своей Рахилью, — и, как и подобает Медее, мстила не только Рахили, но и *детям* их. На детях-то и проявляется нарочитая Медейна месть: пусть будут без законного отца (как ненавидел В. В. эти слова: «незаконные дети» и «законные дети»), с поношением подвергающейся матерью, пусть будут они без имени. Так Медея мстила почти двадцать лет; старуха под 70 лет, она настолько не теряла своей фуриозности, что всякие виды видавший, твердый мужчина победоносцевской школы, Тернавцев воскликнул не менее фуриозно: «не баба, а черт в юбке».

13.VI. К характеристике Медеи: В Монпелье она сблизилась с женой Огарева (Тучковой), перешедшей в жены к Герцену. «То она хочет, чтоб женщины жили отдельно от мужчин, чтоб не вмешивать в жизнь семейную все дразги хозяйства и видеть только в свободное время (уж не сераль ли), то не хочет, чтоб женщина выходила замуж и, паче всего, чтоб не иметь страстей, то хочет выследи́ться из Европы и составить братство, но нет еще товарищей... Наконец, сегодня мы с ней как будто договорились. Я говорю, что *пользу* нужно *приносить* (ее курсивы. — С. Д.), хоть одного мужчину читать выучить...

— Нет, не то. Нужно, чтоб *цивилизированные* в ... (неразобрано одно слово) составили для модели общество, в котором бы не венчались и не крестили детей, написали бы книжки для русского народа.

— Но как составить такое общество? Пожалуй, никто не пойдет.

— А Лучинин и Усов?

Я просила считать меня кандидатом» (с. 119).

Розанов — и кандидатка такого общества! Жить с нею долее значило бы для него не стать Розановым, автором «Сем<ейно-го> вопроса», «В мире неясного», всего, что писано им о поле и браке. Против нее *вопиала* вся его онтология, все зерно его писательства, дремавшее в нем и вырвавшееся наружу не пустоцветом («О понимании»), а истинным цветением и плодом *только* с Варварой Дмитриевной: нашел он Рахиль свою — нашел и гений свой. Связано. Накрепко. Неразрывно. Вот кто была его Музой всегда — Рахиль бесписьменная, тихая, без шумной «близости» с Достоевским, без знакомства с Герценом и его Тучковой-Огаревой, но зато без «испанцев», без «психопатологии», с одной мудрой онтологией «ложя нескверного», — с любовью великою, — вот кто была его музой — Варвара Дмитриевна. Этого тоже не могла никогда простить Медея. Она спала с Достоевским, рассуждала с Герценом, и вдруг от нее и при ней ничего, ничего не явилось розановского — ничего, кроме огромного — далекого от гения Розанова — трактатища «О понимании», а при этой — при семейственной, скромной Рахили, которая с Герценом не только не разговаривала, но и не читала, рождается не только ребенок за ребенком с лона, не оскверненного ни с каким испанцем, но и книга за книгой рождается у Розанова, — и какие книги: «Легенда о великом инквизиторе» (СПб., 1893)<sup>4</sup>, «Сумерки просвещения», «Религия и культура», «Природа и история», «В мире неясного и нерешенного», «Литературные очерки», «Около церковных стен» и т. д. Как же это перенести книжной Медее, что русская литература ей ничем не обязана, а скромной Рахили — всем? Впрочем и ей обязана русская литература: ее, Медеиной, мстью *детям* Розанова, ее упорным удерживанием этих детей от Рахили на положении «незаконных» («законными» были бы дети от бесплодной Медеи) вызвана та страстная защита прав «незаконных детей», которую Розанов повел так горячо и твердо в

«Семейном вопросе в России», в газетных статьях, что из русского законодательства исчез самый термин «незаконнорожденные».

А она, действительно, имела в себе что-то фуриозное, — даже до комизма. Медее свойственно возиться с ядами. Она и тут не отступила от греческого прообраза. «Потом она (— Медея № 2: «Тучкова-Огарева», перешедшая к Герцену —) просила меня достать ей яду через моего доктора. Я, как особа без предрассудков, гуманная и образованная (— Медее ли стесняться в высокой оценке самое себя!), обещала ей, но я не знала, как было приступить к моему доктору с такой просьбой...» (с. 119)<sup>5</sup>.

С добытчицей ли яда было жить бедному Василию Васильевичу, человеку семейному и тихому, с рыжей бородашкой и папирской во рту?

13.VI. P. S. Долинин называет Розанова человеком, «во многом конгениальным» Достоевскому (с. 5) и «почти гениальным человеком» (с. 42). А вот, что приходит в голову: в 60—70-х годах атмосфера русской культуры была еще такова, что человек с темой Достоевского, с пафосом Достоевского, с гением Достоевского еще мог выразить себя, благо он был художник (хуже б ему было, если бы он был чистый мыслитель); но в 90—900-х гг. атмосфера русской культуры была уже такова, что человек, Достоевскому «конгениальный» и «почти гениальный», уже едва мог не выразить, а выкрикнуть свою тему, свое «Я само» («я-то бездарен, да тема моя гениальна»), — и уже не в журналах, как Д<остоевский>, а в газете (весь секрет, почему был в «Н<овом> Вр<емени>», конечно, не в деньгах, а в том, что Суворин давал возможность выкрикнуть о Египте, о «звездном», обо всем, о чем и заикнуться было нельзя у Гольцева в «Рус<ской> Мысли», у Михайловского в «Рус<ском> Богатстве» или у Стасюлевича в «Вестн<ике> Евр<опы>», или в профессорских «Р<усских> Вед<омостях>», в своем издании на свой риск (сборники и книги). Ныне же человек с темой и воплями Достоевского или «конгениального ему» человека с неугасимой папирской был бы немой: с землей во рту. И сама тема — с землей во рту.

## ПРИМЕЧАНИЯ С. Н. ДУРЫЛИНА

<sup>1</sup> В дневнике Сулова писала 24. IX. 1864 г.: «Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания» (с. 923).

<sup>2</sup> Биографию он так и не написал, а письмо розановское отдал, здорово живешь, Гроссману. Тот напечатал его с несколькими строками своих объяснений в «Русском Современнике», подписался Л. Гроссман, получил гонорар и славу первого обнаружителя интереснейшего документа для биографии Достоевского. Когда в 1925 году г. Волжскому пришлось поехать в Семипалатинск по делам и он, желая покопаться в тамошнем архиве о Достоевском, попросил у Гроссмана какую-нибудь бумажку от Академии, тот ничего не дал. Урок простакам.



# ИССЛЕДОВАНИЯ

---

---

В. В. БИБИХИН

## К МЕТАФИЗИКЕ ДРУГОГО

Философия начинается с изумления. В изумлении нас не хватает, потому что перед нашим умом открывается бездна. Мы ее ощущаем почти во всем, что говорит Розанов. Увидев себя над бездной, люди большей частью теряются. Розанов — редкостное существо, в бескрайней мысли нашедшее уют, какого люди не знают и среди самого обеспеченного комфорта. «Я задыхаюсь в мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании... Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться. 'Мне и тут тепло'» («Уединенное»).

Что над бездной можно пить чай, кажется невероятным. Но мы слышим счастливый голос Розанова, подаренный ему его «задыханием». И мы начинаем догадываться: неужели вправду человек может по-настоящему найти себя только на краю вещей, и другого родного дома, кроме бездны, ему нет? Только там он вспоминает, что умеет петь.

«Человек беспределен. Самая суть его — беспредельность...

'Хочу заглянуть за Край'.

'Хочу дойти до конца'.

'Умру. Но я хочу знать, что будет после смерти'.

'Нельзя знать? Тогда я постараюсь увидеть во сне, сочинить, отгадать'...

Человек сотворит. Казалось бы, довольно. 'Сказал все, что нужно'. Вдруг он запел. Это — метафизика, метафизичность» («Мимолетное», 11.3.1916).

Лет десять назад я писал, что метафизика Другого («...у человека есть жажда 'другого'. Бессознательно. И из нее родилась метафизика»), онтология («...онтологический ноумен совпадает и *единое есть с моральным*»), тайна Ничто («...Nihil в его тайне. *Чудовищной, неисповедимой*») — это поздний Розанов. Но что такое перемена во взглядах ищущего человека? Ее любят проследживать исследователи, довольные, когда им удастся «выявить» два, лучше

три, почему-то редко четыре «этапа» у своего выдающегося подопечного. Взгляды меняются иногда как раз потому, что человек не изменяет призванию, потребовавшему его себе раньше, чем он успел себя понять. И не приходится ли человеку, околдованному присутствием тайны, часто смотреть на свои же собственные взгляды словно со сторон?

За тридцать с лишним лет до того, как написать процитированные строки о метафизике, Розанов, молодой учитель провинциальной гимназии, напечатал за свой счет в типографии Э. Лисснера и Ю. Романа (Арбат, дом Платонова) тиражом 600 экземпляров книгу «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего стремления науки как цельного знания» (Москва, 1886, 737 с.) с приложением больших таблиц, схем отделов знания. Особенно эти таблицы вызывают недоумение. Ясно, что никто и не подумает перекраивать науку по предлагаемому плану. В науке просто нет той полководческой инстанции, которая предписала бы всем исследователям иерархию вопросов, нисходящую от первой философии до частных естествознания. Наука только и смогла оформиться, отталкиваясь от метафизики. Розанов ведет себя так, словно окончательного шага здесь еще не сделано. Приходит в голову, что поздний славянский ум вообще не склонен замечать неотвратимую специализацию науки и тяготеет к пансофиям (Коменский), панэпистемам (Петр Берон), пангеометриям (Лобачевский). Вот и Розанов как будто бы предлагает проект цельного знания, не сверившись с современной наукой, не опираясь на литературу, с безмятежным прекраснодушием, словно еще не зная, что жесткая реальность устроилась по-своему.

В самом деле, как он объясняет необходимость своего труда (Предисловие, с. VII): «Положение трудящихся, от которых остается скрытым и то, что именно возводится ими, и то, зачем оно возводится и где предел возводимого — не может быть удобно. Не говоря уже о невольных ошибках, к которым ведет это положение, оно неприятно и потому, что всякий труд, цель и окончание которого не видны, утомителен». Да разве в науке думают об удобстве, приятности и утомлении? Что за подход с точки зрения уюта? Какой шанс он имеет против машины науки? Можно не удивляться, почему книгу никто не заметил. Мы так и продолжали бы не замечать ее, если бы не наше внимание к современной западной мысли. *Онтология, ничто, другое, конец, настроение, понимание* — ее ключи. Но это и Розанов, и разве только поздний? То, что мы приняли за благодушное прожектерство, был размах бескорыстной мысли, удивленно глядевшей на клетки специализированного разума. В них для этой мысли было неудобно, неприятно, утомительно. Розанов не хотел входить в положение науки — и имел право.

Мысль не должна поступаться волей. Она или бескорыстно свободна, или ее нет. Свобода в ней с самого начала гарантия подлинности. Иначе «может случиться, что строящие... возведут ненужное, что придется или оставить не достроивши, или, еще хуже, совсем уничтожить» (с. VII). Сказано опять с высоты птичьего полета:

может случиться. Предположительно. Но что может случиться, то не может не случиться с человеком, — такое он существо, — если он решительно не поставит дело иначе. Наука не только не остереглась упустить целое, она гордится пренебрежением к метафизике. В отместку она потеряла убедительный смысл. «Трудно принудить себя верить в плодотворность труда, когда нет единства ни в цели его, ни в способах, какими он мог бы успешно выполняться, ни в указаниях, в чем именно состоит он» (с. VII, IX).

Не надо дожидаться, говорил нам Розанов, когда ошибка пропишет себя на лице земли. Надо с самого начала дать вольную волю сомнению. Только тогда обнаружится несомненное. Сомнение не обязательно скепсис. Стихия сомнения та же, что стихия мысли: понимание. Раньше понимания никакого смысла нет, так что и непонимание появляется в свете понимания. «В стороне от спора... лежит истина, что какова бы ни была деятельность разума, она всегда будет по существу своему пониманием» (с. X). Понимание «несомненное науки и философии» не потому, что вытеснило сомнения, а потому, что имеет дело с истиной как первой ясностью или неясностью вещей.

То есть не то что истина чудом Розанову дана. Она задана как последняя «неподвижность», в стремлении к которой раскрывается разум. Неподвижность предельной истины по смыслу и лексике — это «неподвижный двигатель» аристотелевской «Метафизики», которую в те же учительские годы Розанов переводил и комментировал вместе с П. Первовым. Вообще видоизмененные аристотелевские понятия — *вещь* и *явление, постигающее — постижение — постигаемое*, категории (семь вместо десяти: *существование, сущность, свойство, происхождение, назначение, сходство-различие, число*) — двигатель всей книги Розанова, создающий ее многословную обстоятельность, медлительное членение, далекие заходы, повторы. Можно удивляться неумоимости, с какой молодой Розанов исписывал стопку за стопкой бумаги. Судя по одному из его неожиданных примеров, только ее временная нехватка заставляла его остановиться. Философские ходы Аристотеля развертываются автором, которому было тесно в рамках перевода. Живой аристотелик в России XIX века? Болгария имела тогда своего досократика.

Упражнения в вольном переложении Аристотеля, Бэкона, Канта, не догм, а примеров, — это просто розановская эвристика плюс мечта учителя переписать все учебники заново, плюс необходимость такого парадоксального очищения своей мысли от влияний. Ум Розанова словно возвращает всю впитанную в школе и университете премудрость обратно. Среди всего этого содержания блестящей чистой мысли приводят читателя в изумление, с которого начался мой отчет.

«Знания не потому истинны и не потому правильны, что соответствуют предмету; но они соответствуют предмету потому, что истинны, и истинны потому, что правильно образованы. Поэтому когда несомненно существование в знании первого свойства, не проверяя (!) можно сказать, что существует и второе — всегда,

и третье — когда оно может существовать», т. е. когда вещи есть (с. 6). Откуда эта вера, что пониманию не надо ждать удостоверений извне? Терминология сбивает с толку, примат «правильно образованного знания» похож на заносчивый панметодизм. Скорее всего, здесь воспоминание об аристотелевском *orthos Logos*, «прямом разуме», который иногда переводят «правильное рассуждение». Но даже если бы точно было так, Аристотель, был бы все равно не главным. Розанов говорит о чем-то настолько простым, что почти сам перестает быть автором своей истины. За понимание не шагнешь, вне понимания проверки пониманию нет — не потому, что мы заперты в ячейке своих восприятий, а потому, что понимание связано с «существованием». Розановское «существование» — это то, что современная онтология называет бытием.

«Существование» выдвинуто Розановым на первое место, опередив сущность, первую аристотелевскую категорию. Оно — «кажущаяся пустота», как будто «ничто», которое, однако, есть, даже когда еще нет ничего. «Чистое существование», «простое и неразложимое», совпадает с «зарождением» разума, начало которого тождественно «прикосновению» (чего? возникающего в этом самом прикосновении разума?) к той истине, что «есть этот мир» (с. 39), изъят из несуществования (ср. с. 71). Благодаря «существованию» как центру, дающему миру *быть*, а разуму *понимать*, мир и разум оказываются «символами» друг друга. Розанов обходит ловушку космизма. Он не примысливает миру удобной гармонии с разумом. Наша связь с миром только вот эта: существование, данное в мире, обратимое в разум. В остальном «может лежать в мире нечто... совершенно непостижимое... что немыслимо, и однако же существует» (с. 66).

Поэтому понимание есть на своем пределе способность не понять. «Истинный признак ума, способного образовать науку [как цельное знание], состоит не столько в умении связывать отдельные явления, сколько в понимании невозможности связать... Мы сравнили человеческие знания с разорванной цепью... Звенья этой... цепи бесконечно малы в отдельности, так что только острое зрение в состоянии открыть, что многих из них недостает... Вот почему мир природы и жизни так понятен для людей с грубым умом и так непонятен (!) для людей с умом глубоким и тонким. Тогда как для первых все уже ясно, для вторых еще все темно; для первых нет ничего, что не было бы естественно и обыкновенно, для вторых каждое обыденное явление полно загадочности; первые живут не удивляясь и не беспокоясь, жизнь вторых — непрестанное удивление» (с. 15—16). И больше: понимающий разум — «нечто замкнутое в себе и глубоко самостоятельное; не человек обладает им, но он живет в человеке, покоряя себе его волю и желания, но не покоряясь им... скорее заставляет человека забывать о всех нуждах и потребностях своих, нежели служит им» (с. 20). Отдать себя чистому пониманию способен не каждый. «Есть отдельные люди и даже целые народы, почти совершенно лишенные его», говорит Роза-

нов, и подразумевает: оно держится чудом, свободным решением сохранять его.

Здесь видно, как мало поздний Розанов отличается от раннего. Что давал поздний, давал и ранний, может быть, даже щедрее. Мы только еще не научились брать, ведь *даже это — дар*.

Могут сказать: теперь все это уже не так важно, потому что «понимание» вошло к нам без Розанова через широкие западные ворота. Но садовнику, тревожащемуся, приживутся ли заморские сорта, успокоительно видеть, что в углу собственного огорода те сорта давно растут. Если бы мы вчитались в Розанова раньше, он ввел бы нас давно в суть вопросов, к которым мы только теперь приобщаемся, читая экзотическое чужое.

Розанов верит простому удивлению. Первое удивление — перед тем, что все есть, что мир есть. «Понять существование есть первая и самая трудная задача науки, как цельного миропонимания. Выходя из внутренней сосредоточенности, разум прежде всего встречает его. Познав себя и то, что совершается в себе, мышление обращается к тому, что лежит вне его, и первое невольное удивление и невольный вопрос его — что это такое, что существует этот мир? т. е. что такое это существование мира, что лежит в мире, отчего он существует, что такое существование само по себе?» (с. 165).

Какая же наука, не понимает Розанов, без этого вопроса вопросов? «Миропонимание будет и совершенно, и полно, если оно познает, во-первых, что такое существование вообще, без отношения его к тому, что существует и в чем существует — и поняв это мировое явление (!) во всей его общности и отвлечении, определит затем форму существования лежащего в Космосе и самого Космоса; во-вторых, когда познает, что такое сущность в самой себе, как основа, на которой зиждется все остальное...» и т. д. Розанов показывал науке, так некстати для нее тогда, что она обошла и что впредь будет карать ее неполнотой. Он знает, что рано или поздно нерешаемое наукой возьмет свое. Понимание не ставит себе целей, а начинает с цели: с целого. Потому что в «существовании», к которому оно «прикасается», заранее имеет место все.

«Чистое существование... общее, первоначальное и неуничтожимое Космоса» (с. 137). «Разрешая вопрос об этом загадочном явлении (!), не забыть чего-либо...» (с. 138). Одинок, наощупь Розанов хочет развернуть чистую онтологию в век позитивизма и философий жизни. Не хватает средств, не помогает среда. Он ищет определение «существования». Его решение кажется провалом: «Существование... есть соприкосновение с пространством» (с. 141). Как? Разве пространство не должно в свою очередь существовать? Общее определяется через частный случай...

Мы, однако, еще не свыклись с движением розановской мысли. Она пользуется подручными средствами, какие подбирает на лету. Но она умеет выпрастываться даже из определений, которые дает сама. Ее цель понимание, суть понимания в явлении сути, суть не наш конструкт. «Истинная цель науки — *понимать то, что есть*, а не

изобретать, хотя бы искусно, то, чего нет. Каково бы ни было это существующее, следует объяснить его, а не заменять другим, что нам казалось бы более удобным и естественным» (с. 289). Что-то заставляет Розанова снова и снова возвращаться к существованию как «пространству».

Прежде всего, оказывается, пространство не трехмерно. Благодаря Лобачевскому, говорит Розанов, геометрия достигла полноты доступного ей понимания, открыла возможность и необходимость «изучать формы пространства не трех только измерений, как это было до сих пор и как это допускают представляющие способности человека, более узкие, нежели способности мышления, но *n* измерений». Много ли это, правда, меняет, спросим мы. Многомерное пространство все равно ведь пространство. Розанов делает еще шаг: «пангеометрия» остается все еще вне вещей как они есть, реальное пространство опять другое, вообще не геометрическое, мы с нашими формами представления не можем его уловить! «Человеку предстоит вечно изучать не природу, но только некоторое в этой природе... потому что орудие геометрии есть определение; и... все, что не поддается ему — а таковы все неопределенные формы — по самой природе своей не может быть изучено и понято» (с. 409). Мы снова спросим: ну и что, что пространство не априорная форма, а «неопределенная форма»? Она так или иначе «существует». Как избежать круга, что «существование» возникает в прикосновении к существующему? Розанов не может не видеть эту трудность. Что-то, однако, мешает ему отказаться от «пространства». Он усматривает в нем — время.

«Когда пространство = 0, движение исчезает и остается чистое время... Это значит, что явление стало чистым преемством, совершающимся во времени, но чуждым пространственных элементов. Таковы все явления, происходящие в духе человека. Напр. когда во мне развивается какая-либо идея, несомненно, что нечто изменяется во мне, но это изменение совершается только во времени: оно проходит между началом и концом развития идеи, но между этим началом и концом нет никакого пространственного расстояния. И так как всякое изменение есть все-таки движение, то мышление есть движение, из которого выделилось пространство, превратившись в ноль» (с. 411).

Изменение мышления во времени — движение, из которого «выделяется пространство»? Но ведь мышление (понимание) возникло, когда его коснулось «существование», а последнее и есть соприкосновение с «пространством»? Такое сплетение вблизи «существования», похоже, неизбежно. «Понять существование есть первая и самая трудная задача науки как цельного миропонимания... трудность здесь... в том, что один вопрос переплетается с другим, и притом так, что разрешая один как будто запутываешь другой, уже разрешенный» (с. 165).

Между «началом и концом» идеи в человеке «нет никакого пространственного расстояния» потому, что человек есть единство.

Я не могу сказать, что в одной моей мысли находится одна частица меня, а в другой другая: меня нет, если центров много, я имею место только как собранная цельность, я сам один и тот же в одной своей идее и в другой. Тем не менее я изменяюсь. Изменение есть движение. Движение цельности, которая изменяется, оставаясь той же самой, есть время. По-видимому, Розанов не просто разрывает здесь аристотелевский разбор времени как «нашего изменения в мысли» («Физика»). Он на собственном опыте видит, как множатся загадки. К ним прибавляется совпадение «несуществования» с «существованием»: «Наконец есть случаи, когда как будто совершенно исчезает сущность того, о чем спрашивается в этой трудной форме науки; чувствуется смутно, что тут есть что-то, требующее познания, но не сознается, что такое это. Таково все учение о несуществовании. С одной стороны, наблюдая действительность, мы вынуждены думать и говорить: «этого нет, это не существует», следовательно «*есть несуществование этого*»; а с другой стороны — «*если несуществование есть, следовательно оно существует*, т. е. заключает в себе существование, и, не заключая ничего другого, *есть существование*», т. е. «*несуществования нет, а есть только существование*» (с. 167). Вопрос явно не решается логикой. Розанов в растерянности. Он предполагает на первый случай, что небытие должно как-то складываться из суммы всех «несуществующих».

Круг *мысль — движение — время — пространство — «существование»* — понимание остается безвыходным. Розанов только еще, характерным образом вглядываясь пристальнее, находит в неподвижном «существовании» изменчивость и не может объяснить ее иначе, как разной мерой открытости «существования». «Каким образом возможно... прибывание и убывание существования, если оно просто по своему составу, как соприкосновение с пространством; и каким образом возможны различные формы его, когда оно несложно? Трудно примирить это иначе, как приняв, что существование во всех случаях остается неизменным и тождественным себе, но только не обнаруженным, обнаруживающимся и обнаруженным для чувственного ощущения человека, *проступающим* перед ним — мы не можем найти более выразительного термина» (с. 169). В самом деле удивительный термин. «Существование», оказывается, нельзя просто пойти и выявить по желанию, как устанавливаются факты. «Существование» настолько не встречается подобно другим предметам, что приходится ставить «вопрос о существовании самого существования (!)». Оно в высшей степени не очевидно, подлежит сомнению. «Быть может существование есть только иллюзия ума человеческого, есть нечто мыслимое и кажущееся, но не действительно существующее... может быть... оно заключено внутри сознания и только ошибочно переносится последним за свои границы» (с. 138—139). В самом деле, предметы могут быть лишь нагромождением следствий причины, которая перестала существовать, как далекая звезда, от которой остались только лучи. Очевидность предметов тогда подчеркивает неочевидность «существования».

Оно не выявляется: оно «проступает» перед человеком, когда разум просыпается в прикосновении к нему.

«Существование обнаруживает себя только в прикосновении понимающего разума, имеющего место не всегда», — значит могло бы совсем не открыться? «Ввиду трудности и неясности этих вопросов» Розанов признает «сомнительность невольно (!) высказанных решений» и указывает на «необходимость дальнейших и упорнейших изысканий» (с. 170). Призыв к научной общечеловечности? Едва ли. Ясно было, что наука целиком поглощена операциями над существующим и всего меньше готова к бескорыстному удивлению перед чистым актом «существования». Философия была не лучше. «...Наука бережно остерегается всякого умозрения и не руководится более принципами и целями полного объяснения, а философия до такой степени чуждается всего доказательного и простого, что если бы каким-нибудь образом прояснилась одна из ее собственных областей, или если бы затемнилась и спуталась одна из областей точной науки, то можно быть уверенным, что она тотчас отвернулась бы от первой и приняла бы в себя вторую» (с. 725). Призыв не обращен и к науке будущего. Розанов о ней ничего не знал, зато как редок дар чистого понимания, знал. Но за кажущейся наивностью призыва к «дальнейшим и упорнейшим изысканиям» загадочного «существования» стоит неотменимая правда: та, что как бы ни сложились обстоятельства, существо человека — понимание; первое дело понимания, его суть — прикосание к бытию. Его всегда обходят. Все захвачены сущим. А оно всего необходимого. «Понять существование есть первая и самая трудная задача науки, как цельного миропонимания» (с. 165). Обойти его по-настоящему нельзя. Оно нужно не науке. Дело идет о человеке.

Розановское цельное знание служит не научной любознательности и не пользе, даже не выживанию человечества. Понимание занято не исканием средств для жизни. Его, забывающего о жизни, захватывает искание смысла, который не оно само строит, а встречает в бытии. Не так, что человек живет среди природы и, пользуясь разумом, помогает себе. Человеческая жизнь не биология. Она не сможет существовать, не имея цели, которой служит. Эта цель не имеет ничего общего с человеческим обустройством. «Погибнет или не погибнет человечество, вопрос этот ничего не изменяет в вопросе о существовании целесообразности: ни человеческое счастье, ни человеческие бедствия не придадут бытию целесообразности, если в нем нет ее, ни отнимут ее, если она есть в нем... Да и не согласится человечество обмануть себя из малодушия, — признать то, чего нет, чтобы сохранить за собою жизнь. А если в тяжелую минуту предсмертного томления оно и сделает это, оно не вынесет долгого обмана» (с. 359).

Смысл целого для человеческого существа важнее хлеба, провал смысла — грознее голода. Поэтому все усилия по обеспечению человеческой жизни работают против самих себя, когда неспособность отдать себя целому вынимает из человека причину его существования. Жизни нужна, как это ни неожиданно, бескорыстная



пезанитересованность ею. Только тогда, найдя силы для захваченности тем, что нужнее воздуха, вместе с миром и ради мира получит свой шанс — но зато уже какой шанс! — человеческая жизнь. Как можно не видеть этого, изумляется Розанов. «Никто, как кажется, и не догадывается о том, как тесно многие отвлеченные вопросы связаны не только с важными интересами человеческой жизни, но и с самым существованием этой жизни. Никому не представляется, что то или другое разрешение вопроса о целесообразности в мире может или исполнить человеческую жизнь высочайшей радости, или довести человека до отчаяния и принудить его оставить жизнь. А между тем это так. Отчаяние уже глухо чувствуется в живущих поколениях, хотя его источник ясно и не сознается. Вот почему легкомысленное разрешение вопроса о целесообразности — а мы не имели до сих пор других — есть не только глупость, но и великое преступление» (с. 360).

Розановское восхождение к тому, что обычно называют абстракциями, открывает не схемы, а тайны, возвращающие богатство и задушевность человеческого существу. Человек очеловечивается, заботясь даже не о высших интересах рода, а о загадочном «существовании» и о целях целого. Чем бескорыстнее понимание, тем щедрее оно питает смыслом и от осмысленности — полнотой. Наоборот, прекращение чистого понимания в человеке, не вышедшем из круга самообеспечения, карается его невидимым истощением. Источники жизни — в высшем, чем жизнь. Оттуда задушевность, оттуда настроения. Розановские «настроения» — не психологические состояния, они «чистые формы духа» (с. 448), такие же бескорыстные, как дар понимания. «Сознание... беспричинности настроений, или, что то же, их чистоты, как произведений духа, выразилось и в языке: 'грустится', 'радуется', 'чувствуется неудовлетворенность' или 'жаль всех' говорят обыкновенные люди, когда и у них временно проступают (!) настроения, вообще присущие только великим характерам. Значение настроений в истории нельзя достаточно оценить: все великое в ней произведено ими. Религии и революции, искусство и литература, жизнь и философия одинаково получают свой особенный характер в настроеньи тех, кто создает их» (с. 448).

Отчаяние прокрадывается в жизнь миллионов. Оно подрывает человечество как раз тогда, когда люди, кажется, с небывалым упоением увлеклись жизнью. Не надо принимать это увлечение за чистую монету. В нем не жизнелюбие, а попытка схватить внешними средствами ускользнувшую глубину, на которую у человека перестало хватать силы. Дело вовсе не в распространении атеизма. Неглубокая религиозность хуже честного безбожия. «Никакая атеистическая книга, мы решаемся утверждать это, не удаляет столько людей, и так совершенно безвозвратно, от мысли о Религии, сколько и как удаляет их от нее каждая вновь проводимая ветвь железной дороги, или каждая новая обширная мануфактура. Оглянемся кругом: не неверие, как борьба против религии, есть характерная черта нашего времени; но неверие, как равнодушие

к Религии... Человек страшно глубоко погрузился в жизнь, он никогда более не остается наедине с собою» (с. 547—548). Беда в метафизической немощи. Человеческому существу перестало хватать духовного размаха для прикосновения к началам вещей. От этого человек размазывает себя по поверхности мира. Как бы широко он ни разбрасывался, он не восстановит этим своего величия.

Не хватает сил на религию — не хватит и на науку, которая по-настоящему требует не меньшего размаха, чтобы снова и снова подниматься к целому. «Наука... уже никогда более не поднимается к первым основаниям... Одновременно с религиею и потому же, почему и она, пала и наука... Кто думал об опасности для всех высших форм творчества, когда, усложняясь и ускоряясь, жизнь невольно увлекла в свой поток человека, и смыла все, что в нем поверх животного? Кто мог поверить, что с тех пор, как наука со своими открытиями станет двигателем жизни, эта жизнь неуклонно будет двигаться к разрушению науки, что плод познания уьдет корень его? Кто мог предвидеть, что в простом ускорении всех человеческих сношений заключается более опасности для религии, нежели во всех ересьях, какие когда-либо волновали религиозный мир?» (с. 548—550).

Это не нравственное негодование, обмеление для Розанова вопрос не этики, а онтологии. Высота «существования» требует всего человека, собирание себя для соответствия ей — дело предельного усилия. Можно ли требовать от человека нечеловеческого? «Никто не восставал и не боролся против религии, но кто устоял в ней? Скажем более, какая человеческая мудрость и какая сверхъестественная сила могла бы сделать, чтоб человек все еще продолжал думать о ней, т. е. чтобы живя среди хаоса бегущей жизни он жил бы так, как будто вокруг него была пустыня... Нет, не человек отпал от Творца своего: он не виновен ни в чем, кроме бессилия; но иная могущественная воля непреодолимо отвлекла его от Творца, и против этой воли восстанет ли когда-нибудь равная, чтоб преодолеть ее... Есть глубокая справедливость в мысли, что все, что ни делает человек, он делает для того, чтобы забыться. Он страшится остаться с собою, почувствовать себя, почувствовать свое существование» (с. 550—551). Нравственное осуждение было бы уместно при отпадении от известной нормы. Человек отпал от неведомой истины. Он закрыл глаза, если можно так сказать, на невидимое, упустил то, чего не было и не могло быть в его руках. То, на что настойчиво указывает Розанов, — по существу ситуация «пойди туда, не знаю куда» или другой сказки, где самое дорогое теряет человек, отказавшийся от того в своем доме, чего он не знает. Это еще не родившееся дитя. Человек не все знает в собственном существе, оно еще, по Розанову, не раскрылось, и как раз в том, что мы в себе не знаем, мы только и могли бы себя по-настоящему узнать. Существо человека — Другое.

Розановская книга — о понимании, мы ждем прояснения. В сильном конце книги, очистившись от схематизма полупародийным схемотворчеством, освободившись от тягостного энциклопедиз-

ма через игру в систему, Розанов отсеивает от «второстепенных делений» то, чего ни в каком случае и никогда «не переступит человеческий разум» (с. 688). Пусть почти все проведенные «деления» оказались условными. Тем важнее услышать, что одно безусловно. Ответ поражает: «Если стремление к истинному есть самая человеческая сторона в нашей природе, то пробуждается она сомнением; и если, как думали и думают многие, человеческая природа не ограничивается одной материальной, земною стороною, но и заключает в себе другую сторону, иного и высшего происхождения, то сюда по-преимуществу перед всем другим следует отнести дух бескорыстного сомнения: из всего, окружающего человека, только ему одному свойственно оно, и вершины человеческого развития всегда украшались им» (с. 695). Понимание есть сомнение, сомнение есть понимание?

Розанов, как обычно, предупреждает возможные недоразумения. Он не зовет в туман, он не может «остановиться в познании ни на достоверной поверхности, ни на недостоверной глубине» (с. 725). «Духу бескорыстного сомнения» всего ближе его гарант — воля к последней ясности. Одно не вытесняет другое, равноправные сомнение и ясность составляют цельное знание. «Если ум, пробудившийся к исканию, не обладает ясностью... наука, как истинное понимание, не образуется. Так разрешаются все сомнения, религиозные и другие, на Востоке, что производит замечательные религиозные движения, но никогда — науки. Причина этого лежит в характере ума восточных народов, лишенного ясности и особенно отчетливости. Напротив, когда разум, в котором под влиянием сомнения начали образовываться новые идеи, слагаться иное понимание, обладает ясностью, то... сочетание сомнения и ясности в строении мышления необходимо создает то, что составляет части науки, т. е. отдельные части истинного понимания» (с. 696).

У науки нет большего врага, чем вытеснение сомнений. Парадоксальна не эта мысль Розанова, а то, что она не принимается нами как само собой разумеющееся. Мы мало замечаем, что наука до сих пор держится чудом возрождающейся с каждым поколением исследователей решимости противостоять напору готового смысла и ставить под вопрос то, что общество хочет видеть или считает решенным. «Постоянное сознание грани между известным и неизвестным есть условие, без которого невозможно развитие науки, — а между тем оно встречается не часто. Обыкновенно не сознают отчетливо этой границы, и неизвестное считается уже известным; это совершенно убивает науку» (с. 697—700). «Причина, из которой развивается наука, есть сомнение; и следовательно возникновение самостоятельной науки у какого-либо народа обуславливается тем, способен или нет его разум пробудиться (!) к сомнению. Дар же сомнения не заимствуется и не передается, не покупается и не продается» (с. 723—724).

Поскольку понимание не устраивается человеком по желанию, а открывается с «проступанием» существования, само событие понимания подлежит сомнению: оно может не совершиться. Другая

сторона его непредсказуемости — изъятость из причинно-следственных цепей. Понимание есть «цельное знание». Целое, конечно, дает о себе знать во всем существующем, которое существует, пока цело; но во всем наблюдаемом само по себе целое присутствует неуловимым образом. Так, организм — целое, но относительное. В более полном смысле целое — семейство. То в свою очередь — условное целое, подчиненное виду. Род тоже не безусловное целое. Целое угадывается везде и вместе с тем повсюду ускользает как таковое. Целое присутствует как таковое только в понимании целого. Понимание, собственно, и есть присутствие целого. Мышление возникает с первым «невольным» вопросом «что это такое, что существует этот мир?» (с. 165) — вопросом о целом. Проникаясь целым, мышление в той мере, в какой оно есть присутствие целого, преодолевает пространственность, «превращает» пространство во время. Понимание как мышление целого есть таким образом — не от себя, а через прикосновение к «существованию», — начало истории.

Поэтому Розанов подчеркивает: понимающий разум «не возник в истории, не исчезнет в ней». Наоборот, история началась с него. «Явления понимания или научной деятельности суть первоначальные в жизни» (с. 705). Под «научной деятельностью» подразумеваются удивление, сомнение, стремление к ясности.

Прикосновение к целому, ускользающему в наблюдаемом мире и «проступающему» только в акте понимания, выносит понимание в другой мир из пространства биологической текучести — во время истории. «В своем целом, как исторический процесс (!), *понимание не связано с жизнью*: оно составляет особенный мир, который развивается рядом с миром жизни, понимает его и часто управляет им, но само никогда не управляется им и не служит ему» (с. 706). «Никогда» здесь может показаться преувеличением, однако оно строго отвечает дефиниции понимания. Последнее возникает в прикосновении к «существованию» и исчезает с иссяканием воли к вопросу о целом. Поэтому понимание *ex definitione* не может «управляться» жизненным потоком. Оно просто перестает быть, когда отъединяется от источника целостности. «В истории *понимание* или есть — и тогда оно не извращено, или извращено — и тогда его совершенно нет» (с. 735).

В том же строгом смысле человек не может распорядиться собственным пониманием, поскольку зависит от него для своего осуществления, т. е. сам же и есть в своем существе понимание. Так что всякое его решение заранее уже стоит тем или иным образом на понимании как цельном знании, прикосновении к целому самому по себе. «Он (человек) стал понимать невольно и бессознательно для самого себя» (с. 709). Отсюда не следует, что человек в своей истории автомат. Единственное существо, прикоснувшееся к целому как таковому и тем родившее в себе время, человек, свободен настолько, что в истории совершается его непредрежденное приращение, «природа человека не остается неизменной», «раскрывается» в истории понимания — она же и есть подлинная история (с. 710).

Человеческая природа раскрывается «невольной» и «бессознательно», но не автоматически, потому что как раз для этой «бессознательности» требует нечеловеческой воли к отношению от биологической зависимости — ради самой же жизни. «Невольной» человек отдан своим существом истине, но благодаря ей свободен, включая легкую свободу изменить ей.

Все вместе — *усилие, свобода, падение* — принадлежит единой истории понимания. Даже выход из истории принадлежит ей же. «В понимании, столь необходимом, столь постоянном, и в истине, к достижению которой движется оно сперва без участия человеческой воли, потом при ее содействии и, наконец, вопреки ей (когда человек усиливается что-либо оставить скрытым от себя, например в религии и политике, и не может), — в этом стремлении нельзя не видеть *назначения человека*. Нужно захотеть не думать, чтобы не подумать этого; нужно сознательно отвернуться от факта, чтобы не видеть его; нужно молчать, чтобы не быть вынужденным признать его — усилия напрасные и утомляющие» (с. 711).

Религия и политика приводятся в пример областей, где поздний человек устаёт от истины, не случайно. Подлинная религиозность как признание Неизвестного — союзница сомнения, поэтому даже ревнивая борьба религии против поверхностной ясности помогала науке хранить глубину. От политики наука уже не может рассчитывать на подобную помощь. Розанов предсказывает: «Если религиозные преследования против науки окончились навсегда, то политические гонения против нее в настоящем значении еще и не начинались» (с. 715).

Необеспеченность «ищущей науки» заложена в ее существе и «причине» — сомнении. Необеспеченность преодолевалась бы в случае, если бы сомнение было ступенью к ясности и подлежало преодолению. У Розанова оно, однако, преодолению не подлежит, оно «украша[ет]... вершины человеческого развития». Оно — неотъемлемое другое лицо понимания. Необеспеченность имеет своей оборотной стороной самостоятельность. Зависимость понимания от биологии только негативная, а не содержательная. Здесь гарантия нерушимости человеческого существа независимо от условий его жизни. «Если бы удерживать установившийся взгляд на науку, как на нечто служебное, как на *ancillam vitae*, то было бы необходимо отказаться от ее свободы. Но истина состоит в том, что этот взгляд есть заблуждение, и что оно могло возникнуть только в жизни общества, в котором не существует науки, но только нечто сходное с ней... Необходимость науки, как развивающегося процесса понимания (т. е. истории осуществления и раскрытия человеческого существа. — В. Б.), безусловна и всесовершенна... А поэтому и свобода ее от всего, лежащего вне разума, безусловна и всесовершенна: она ни к чему не имеет отношения в жизни, ни с чем не связана причинною связью, а поэтому ни от чего не зависима... Будучи процессом внутренне необходимым, понимание по отношению к создающему его есть деятельность произвольная. Произвольно же совершаемое человеком не может подлежать осуждению. И поэто-

му наука, будучи свободна от явлений жизни, свободна и от суда человеческого... В природе вообще не существует силы и права, могущего стеснить разум и науку... Когда я понимаю, я не имею отношения ни к людям, ни к жизни их; я стою перед одной моею природою и перед Творцом моим» (с. 716—719).

Наука здесь — не ученость, не образование, не культура, не литература, не сумма познаний, она — понимание. Его существо в корне другое, «отдельное». «Как чистое понимание, наука поднимается над тем, что до сих пор называлось этим именем и... отделяется от него... перестает быть связанной с каким-либо местом, временем, корпорациями и учреждениями» (с. 722). Отдельность цельного знания (ср. «отделенная от всего софия» Гераклита) делает подлинную науку абсолютно открытой. «Одновременно с... выделением из себя всего чуждого ей, она принимает в себя все, что когда-либо и где-либо стремилось к познанию. Мальчик, смотрящий на пламя и задумывающийся над тем, что такое оно, юноша задумывающийся над нравственными вопросами жизни — стоят в пределах ее, хотя бы они и не разрешили своих сомнений (!). Но ученый, с успехом сдавший на магистра и готовящий докторскую диссертацию, стоит вне пределов ее, потому что не жажда познания руководит им» (с. 722—723).

Розанов говорит об «исчерпывающем» характере понимания. В любом будущем и во всех возможных мирах «не может явиться никакого второго понимания, и даже если бы изменился самый разум человека в строении своем... понимание не изменилось бы» (с. 735). Даже точные науки в сравнении с ним менее безусловны. Они так или иначе привязаны к сложившемуся в данном эоне порядку вещей. Предельность понимания, разумеется, предопределена тем, что оно, по определению, имеет дело с целым. Понимание — исчерпывающее, как целое есть целое.

По-настоящему захватывающий вопрос в другом: каким образом возможно присутствие целого? Розанов отвечает: в силу того, что человек способен бескорыстно отдать себя пониманию целого, оно «проступает» для человеческого понимания. Такой ответ — обязывающий. Он требует для своего обоснования не умозаключений, а того самого поступка, о котором говорит.

Розанов, каким мы его все больше узнаем, был таким поступком. Чтобы ощутить размах его мысли, надо помнить, что переменчивому публицисту Розанову предшествовал совершенно другой и все равно тот же самый Розанов с философией понимания — цельного, исчерпывающего, окончательно неизменного блага. Подчеркнутая розановская переменчивость кричала о том, что цельная истина непохожа на ее фрагменты, с которыми нам обычно приходится иметь дело.

## ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ

В. В. РОЗАНОВА

«Меня пронизывал иногда внезапный страх в комнате днем, и еще больше — на ярком солнце около полудня, когда я оставался один».

Павел Флоренский. «Природа».

В творческом наследии В. В. Розанова можно обнаружить целый спектр мыслительных перспектив-жизнестроений. Созданные философом-художником необычайно вместительные образы кажутся иногда вольно примиряющими в себе очевидные различия и противоречия в понимании мира и человека. И вместе с тем даже указание на «двуликость» философствования и самого образа Розанова представляется неумолимо плоским, однозначным, «не-понимающим»... В любом определении: неясности, неопределенности, непредсказуемости и т. п. может быть — и должна быть — акцентирована содержательная часть: речь пойдет о не-ясности, не-определенности, не-предсказуемости... Мыслитель Розанов «никогда существенно не подавался в себе», сохраняя позицию *при-страстной вне-находимости* в отношении к живому бытию. Стремление понять мир в его предельной явленности и полноте сближает позицию Розанова с традициями диалогичности и диалогической философии, господствующими в философско-культурологическом мышлении конца XX века.

Розанова изначально интересовали мир, человек и знание как целое. Обращаясь к предельным вопросам человеческого существования, Розанов создавал и язык, способный высказать «тайны бытия»: слова творят мир... — Господи, слова дай, Господи!... И возможность уяснения и прояснения бытия ставилась Розановым в связь с деятельностью понимания, которому, по его мысли, присущ «исчерпывающий характер»; ибо оно есть последнее в деятельности разума — благое созерцание истины, неизменной в своем содержании, непреходящей во времени и законченной<sup>1</sup>.

Размышления Розанова о природе человека неотделимы от вопросов христианства. Друг и биограф Розанова Э. Голлербах отмечал, что «отношение Розанова ко Христу было неясно. Иногда он преклонялся перед Ним, благоговейно и восторженно. Но был убежденным врагом Его учения, погасающего земную радость, испепеляющего цветы бытия. ...Предсмертные дни В. В. были сплошной осанной Христу»<sup>2</sup>.

Что касается личного богообщения всякого верующего человека, то оно всегда остается тайной... Отношение же мыслителя к христианству как жизнестроению и жизнепониманию доступно

мысли. Розанов говорил об особом месте человека в мире христианства — можно было бы сказать: обособленном... — ибо христианство, по его мнению, «разделило» человека, оторвало его от самого себя. Только благодаря христианству, «поднялась жгучая и острая идея вины, греха, страдания. Мир разделился и противоположился»<sup>3</sup>. С христианством как бы утратился «планетный смысл» бытия — космическая гармония — мир утратил целостность. «Небо» понималось как создание Бога, а «земля», если не прямо, то косвенно, стала признаваться «тварью дьявола», — люди также разделились на святых и грешников, очищающих и очищаемых, прощающих и прощаемых.

Возникнув как религия любви и совершив в мире космический переворот, христианство, считал Розанов, постепенно усиливало в себе «авторитет». Это сопровождалось «падением человека», когда «скорбь и мука поползли по низам человечества», в ответ чему проявился «бунт против авторитета». Розанов отметил, что «история и психология и механизм выработки *авторитета* и вообще *властительных* элементов христианства есть одна из великих тем, пройденных историками мимо»<sup>4</sup>. «Авторитет» христианства, в понимании Розанова, имеет ту страшную и сладкую особенность, что в нем «склоненные выи» любят склонившее их ярмо — любовь превращается в *не-вольную* любовь<sup>5</sup>.

Из этого следует распространившаяся в истории все большая и большая зависимость человека от идей и чувств греха и искупления. Духовное перемещается в царство «не от мира сего», реальному же миру оставлено бездуховное существование — «просто комбинация способностей и нужд».

Укрепление «авторитета» христианства вело к его одновременному отчуждению: нетленность и вечность истин «авторитета» отделены от бытия-за-пределами-молитвы, христианство суживается до бытия-вне-жизни... а ведь оно основывалось как бытие-во-имя-жизни!... Небо становится узником самого себя: «на тебя должно молиться, но тебе нельзя двигаться. Если ты двинешься, — мы все остановимся»<sup>6</sup>. Осуществленное разделение «неба» и «земли» привело к утрате святости естества, что выразилось, как полагал Розанов, в жестоком отношении людей к живым существам, ибо кровь — *кровность* — была исключена из средств общения с Богом и в людях угасло чувство трансцендентности крови: зверобойство перешло в человекобойство... Утрата родства духовного и «естественного» — это утрата «древнего Эроса», того «милого» мироощущения, в котором все живое понималось человеком как близкое и «единокровное» себе.

Итак, стремясь к человеку-в-его-бытию, Розанов хотел прежде всего разрушить «формализм почтения», царящий вокруг религии, неумолимо слитый с ее тайным и полным отрицанием<sup>7</sup>. «Да есть ли реализм, реальность, реалистический момент в самом христианстве? ...Безкровное и бесочное — вот что такое наши религиозные понятия. Отсутствие крови и сока...»<sup>8</sup>. Слово разошлось с бытием — утратилось Бого-ощущение и осталось одно Бого-понятие, пропал



религиозный универсализм: догматическая «понятийная» работа христианства над своим устройством привела к ослаблению и саморазрушению веры. «Бог явился грамматической фигурой для строки, имевшей быть написанной через 2000 лет»<sup>9</sup>.

Утрата личного любовного отношения привела к ослаблению Бога как «центра мирового умиления», бытие догмата угасило возможности пророческого начала в человеке и человечестве. Отстраненный от Бога догматом человек вынужден был обрести своелюбивую-любовь-в-мире, отдаленном — и отдалившемся — от религии.

И если «брошенный» человек реально забыт в мире, он должен укрепить усилия для реального существования. Антропологическое приходит на смену религиозному, питаюсь его «святым светом»: эгоистичность антропологической идеи предстает как следствие утраты Бога человеком, не ощущающим в себе теплоты божественного космоса. Тоска по космической всеобщности неполноценно удовлетворяется «на земле», которую требуется всевременно «о-божить»: земля в своем одиночестве невыносима для существования — она хочет света и освящения.

Утрата божественности — источник трагизма людского существования: человек приходит к самоотрицанию... Ощущение апокалиптичности существования свидетельствует о разрыве «неба» и «земли» — о вселенском кризисе. Розанов писал: «Что за судьба (говорю о Европе): или монастырь, или уж если отрицание — то такое дьявольское, с хохотом, цинизмом, грязью и... революцией»<sup>10</sup>. Апокалипсис — на земле — представлялся Розанову прямым следствием христианского «авитализма»: христианство, он полагал, «бес-почвенно», «бес-поло» и не в силах «устроить» земную жизнь. Христос «не посадил дерева, не вырастил из себя травы; и вообще он «без зерна мира», «без ядра», без икры, не травянист, не животен, в сущности — не бытие, а почти призрак и тень, каким-то чудом пронесшаяся по земле»<sup>11</sup>.

И человек, живущий христианством, кажется Розанову «странной тенью» — призраком, до известной степени «человеком лишь по имени». Нужно, следовательно, по-вернуться к тому, что было раньше — солнце загорелось раньше христианства. И солнце не потухнет, если христианство и кончится<sup>12</sup>. Христианству Розанов противопоставляет «бытийное хотение» — неистребимую влекомость к жизни: роды, космогонию, космизм бытия... Именно жизнь должна быть поставлена выше всего. *Пол* — исток и тайна, и *пол* должен быть... обожен и космичен.

Христианство же, по Розанову, не космично, в нем «трава не растет» и «скот от него не плодится», а без скота и человек не проживет. Слабость христианства — в «бесплодности» религии, не связанной с «семьей», с «древностью»... Стремясь найти основание человеческого существования, Розанов — «однодум и однолюб» — утверждал *пол* как первоисточник жизни. Э. Голлербах полагал даже, что тем самым оформлялся своеобразный «сексуаль-

ный пантеизм», поднимающий *пол* на высоту «положительного всеединства»<sup>13</sup>.

Собственно говоря, идеи Розанова могли быть включены в известную традицию. Мысли Розанова о *поле* как основании существования близки идеям Платона о божественном Эросе, излагаемым в диалоге «Пир». «Эрот, — писал Платон, — живет не только в человеческой душе, но и во многих других порывах, да и вообще во многом другом на свете — в телах животных, в растениях, во всем, можно сказать, сущем, ибо он бог великий, удивительный и всеобъемлющий, причастный ко всем делам людей и богов»<sup>14</sup>. Для Розанова *пол* — источник неопределимого Начала, действие которого основывается и проявляется в самой органической энергии. Прекрасное — не что иное, как «отблеск радости» жизни, а отвратительное — есть содрогание от приближающейся смерти. Бытие природы и человека бесконечно разворачивается, превращаясь; органические формы бытия развернуты в направлении к источнику, вынесенному в будущее. *Пол* — до человека, до мира. В начале было не Слово, Логос, а Пол, Эрос<sup>15</sup>. И самая жизнь рассматривается как достижение органическими формами, этой одушевленной материей, вечного своего источника, остающегося в бесконечной дали, некогда затеплившего искру особенного человеческого существования<sup>16</sup>. Пол всегда *пред-шествует, пред-варяет, пред-полагает*: бытие-как-начало-в-будущем, где ждет со-единение как смысл существования. Начало бытия естественно и закономерно совпадает с будущим — желанным *не-достижимым* пределом, открытым в бесконечность существования. Человеческое существование — это становление-незавершенность, поэтому не следует искать начала органической жизни: оно не в прошлом, а в будущем, обращено к «Безначальному Началу»<sup>17</sup>. Любое *о-пределение* начала будет лишь метафизической привязкой к ложно остановленному моменту, ценному самому в себе, но недостойному называться Началом... *Пол* — есть субстанциально-космическая основа жизни, Начало-без-начала — потенция всех возможных будущих со-единений: «как бы Бог хотел сотворить *акт*: но не исполнил движение свое и дал его *начало* в мужчине и *начало* в женщине»<sup>18</sup>.

Определив *ис-точную* основу существования, Розанов объяснил соответствующим способом все стороны образа человека. Любовь — это «в себе самом истинное: любовь исключает ложь, гаснет любовь и гаснет истина... Творческие способности человека также непосредственно укоренены в почву *поля* — гений завершает собой историю, гений — это существо, стремящееся к людям, но глубоко отчужденное от них уже тем, что его естественное *во-площение* в потомстве ему недоступно. Существование гения — предельное существование, безусловная гениальность человека, по мысли Розанова, почти всегда означает и конечность его естественного рода. Абсолютное преобладание в личности гения духовного начала нарушает гармонию существования естества.

Впоследствии Розанов несколько пересмотрел свои взгляды на отношение творчества и *поля* и объявил, что именно *пол* — источ-

ник всякой гениальности, именно из половой жизни лучатся все прозрения философские, все открытия, все таланты<sup>19</sup>. Гений и *пол* питаются одной и той же энергией: разница между ними лишь в том, что гений сосредоточен исключительно на духовной производительности. Э. Голлербах отметил близость мысли Розанова к идее Владимира Соловьева о гениальности как ориентации на внутреннее дело духовного производства. Гениальность, утрачивая естественную преемственность племени, сохраняет себя в общем потомстве.

Таким образом, *пол* предстает для Розанова источником жизнестроения: ослабление телесного начала высвобождает дух из кокона природы — исходная энергия *пола*, превращаясь в творческую, открывает в мире законы гармонии, первоначалом которых является Эрос.

Розанов был склонен рассматривать жизнь *пола* как основу духовной жизни. Тем самым источник возводился на уровень онтологии: всеобщая всеприсутственность Эроса — *средо-точие* (существования... Человеческая духовность — вся феноменальная жизнь и творчество — подчиняются единственному и вечному ноумену — *Полу*.

Можно сказать, что Розанов утверждал своеобразную *метафизику пола*. В результате все проявления бытия предстают в виде действий-желаний, обусловленных «неизбывной тягой» к будущему перво-начальному Эросу. В своем философствовании Розанов стремится выйти за «конечные» определения человека, открыть ему простор для о-существления в будущей Встрече. Сама метафизика *встречи*, следовательно, создается взаимопереходами и взаимодополнениями позиций и их «следов»: каждая из позиций — «ничто» — имеет смысл только в общем — «Нечто» — *пола*. Философствование — превращение идей-чувств, «оседание» понятий, освобождающихся от безличной пон-ятийности и «врастающих» в *ис-точное*, но принципиально недостижимое Начало Эроса.

Очерченные метафизикой пола горизонты существования определили более конкретную антропологию Розанова. *Пол*, согласно Розанову, неразрывно связан с самостановлением человека, *пол* — «внеестествен и сверхестествен», он *пред-шествует* деяниям и поступкам. Самостановление — всегда выход-за-естество на основе естества, личностно-космическое экстатирование: лишь там, где есть *пол*, возникает лицо... «*Пол* есть второе, темное, ноуменальное лицо в человеке»: «здесь пропасть, уходящая в антипод бытия, здесь образ того света»<sup>20</sup>. Как природная основа бытия *пол* одновременно про-является и не-про-является, он всегда больше, нежели он «конкретно-есть», он всегда «метафизичнее», чем его объяснение и истолкование как «акта». Обедненное — дурно метафизическое — отношение к полу «лишь как к органу — есть разрушение человека», «пол не есть вовсе тело, тело клубится около него и из него»<sup>21</sup>, — писал Розанов.

Главной задачей антропологии является установление связи пола с трансцендентной сферой, — «связь пола с Богом большая,

чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом»<sup>22</sup>. Бытие — это трепетное ощущение человека между Богом и космическим витальным Эросом — именно это и даёт бытие «Я-в-мире»<sup>23</sup>. Тайственное внимание к росту бытия организует философствование: «занимаясь собой», человек занят в то же время «всем миром». Философия — понимание... Розанов, оставаясь одним из и однолюбом, как он себя называл, готов допустить все, что «унеживает душу», готов «сместить» точку зрения ради расширения объема видения мира... Сила такого взгляда основывается на тезисе: «никогда не верить небытию...».

В. В. Зеньковский, отмечая, что в антропологии Розанова лежит ключ ко всей его духовной и идейной эволюции, называл позицию писателя-мыслителя «скрытой софиологией или абсолютизацией чувства природы». В антропологии Розанова космоцентрично чувство личности: метафизика *пола* и человека опрокинуто в бесконечность развития и познания природы. И хотя метафизическое постижение человека у Розанова сосредоточено в круге проблем, связанных с *полом*, это не пансексуализм Фрейда, ибо для Розанова в тайне пола все очеловечено<sup>24</sup>... Не может антропология Розанова быть сведена к позиции «филосемита», равно как и любой другой позиции, центрированной на однозначно возвышаемом моменте бытия или истории: человек именно во *всей* истории и во *всем* бытии обретает то, что он утратил в мироздании — включается в исторический универсум и таким образом восстанавливает свою полноту. Творческая мощь *пола* включает человека в общение. Личность — трансформация *пола*, но все антропологическое — одушевлено и одухотворено, существование личности — это единство противопоставлений, имеющее космический и личностный смысл — одновременно... Укорененность в *поле* — всех, уравнивает — всех в едином ощущении и понимании своей природы. Личность предстает и как фундаментальная «вселенская конкретность», и как неповторимое «Я».

Ограничение антропологии кругом вопросов, связанных с проблематикой *пола* и Эроса, не сужает пределы философствования Розанова. Его определение жизни как «теплого, удобного и круглого Дома» постоянно ориентировано на описание и понимание образа человека в мире: того, что соединяет «небо» и «землю». Чины и иерархии — небесные и земные — являются про-образами друг друга, земные и небесные ссоры, несвязанности, разногласье — определены друг другом... Люди не умеют жить в согласии ни с «землей», ни с «небом» — в этом источник трагизма. Что касается самой жизни «неба», то она — единственно — может быть понимаема как «свет неугасимый»... «Всегда помните Христа и Бога нашего. Поклоняйтесь Троице безначальной и живоносящей и изначальной», — писал Розанов в своих последних вдохновенных и пророческих письмах<sup>25</sup>.

Образ человека, представляемый Розановым в его творчестве, лишен однозначности: можно сказать, что проявления человека постоянно превращаются, переворачиваются, возвращаются к то-

му месту, из которого ушли прежде — образы включены в графическую фигуру бесконечности, а потому и само философствование — это авто-био-графия, письмо, открытость проявления дискурсивности в лице предельно же открытого автора, который в то же время тщательно маскирует себя... Манифестирована противоречивая и парадоксальная внешность-внутренность бытия-для-других, являющаяся, будто бы и бытием-для-себя. На самом деле подлинный — и неуловимый — Автор-автор живет «за занавеской», там и только там сам с собою он бывает правдив<sup>26</sup>. Можно сказать, что и эта «подлинность» противоречива и неполна, однако сила ее не в содержательности и законченности, а в самой позиции пишущего — в ее неисчерпаемой «пограничности», пребывании «здесь» и «не-здесь». Автор занимает позицию, в которой мир лично переживается им, лично им понят и оценен, но личное бытие возвышается в то же время до универсальной позиции пребывания в мире. Парадоксальность Розанова близка антиномизму Флоренского, писавшего, что жизнь бесконечно полнее рассудочных определений и потому ни одна формула не может вместить всей полноты жизни<sup>27</sup>. «Мое дело — писать...» — признавал Розанов, понимая под этим воплощение-мира-в-письмо, способное вобрать в себя *всю* жизнь. Неповторимое восприятие есть синтез воспринимаемого в разные моменты<sup>28</sup>, причем акт восприятия соединяет «следы» предшествующих переживаний в единую судьбу-культуру. Любой «жест жизни», уловленный словом, способен воплотиться в судьбу-культуру лишь в случае обладания «реальнейшим» смыслом: художник, мыслитель и поэт восходят «а *realia ad realiora*»: бытия горнего и дольнего отражены друг в друге, восхождение и нисхождение — фазы одного потока, растворяющего и примиряющего в себе образы творчества и образы бытия.

Бытие человека в мире, согласно Розанову, есть всегда примирение. Рассмотренное в отрыве от «корней земных» понятие как отвлеченное начало имеет в себе искус гордыни — *пон-ятие*... В христианской традиции восхождение предполагает нисхождение — «взаимное тайнодеяние встречных духов», сверхличное соединяется с внеличным и безличным — хаосом... И хаос — сфера безмерности и бесконечности — реален, это проявление «демонизма стихий» — плодотворное лоно для всех — и всяких — действий. Понимание значит, что все «нужно принять в себя, и весь мир заключить в сердце»<sup>29</sup>, — и этот вселенский размах есть в то же время ощущение неизбывной конечности существования, всей личной «милой теплоты и закругленности» дома-тела-судьбы... Среди других... но сам с собой! — когда: «Не одинок, и одинок»<sup>30</sup> — одновременно и навсегда, а жизнь «за занавеской» и несчастье, и благо — в каждом — исчезающем — миге, наполненном трепетным ожиданием *встречи* в Безначальном Первоначале. «Земное» и «небесное», *пол*, Эрос, писательство-в-мире-проявления Единого, проясняющегося в мерцаниях-прозрениях, но тут же «стесняющегося», от-тесняемого в пределы невыразимого, куда — или отку-

да? — открыт доступ... только литературе? — и только в той форме, которую создавал Розанов?..

Неумолчный шум в душе, томление, опьяняющий рок таланта, обреченность на не-участие, на не-борьбу, на уединение — страж души, ибо из уединения — силы, из него же — чистота и духовная собранность — это позиция не-пред-сказуемости, пред-шествования конкретного слова, которое, вырвавшись на волю, может превратиться в риторическую фигуру псевдооткровения, тая в себе «демона власти», оторванного и от «земли», и от «неба»... Душа религии, поэзии и философии в равной степени враждебна политике и пылает против нее: писатель и мыслитель должны быть вписаны в «изменчивость мира», в недоверие, — равновесие вселенной создается согласием и противоборством перемен. «Самые лукавые», не-прямые линии выражают вечную устойчивость вселенной<sup>31</sup>. Фигура писателя-мыслителя не об-у-словлена пространством-временем: письмо соединяет «верх» и «низ», вос-хождение и нис-хождение, «сбивается» в сторону от прямой линии, само-вольно ускользает, подрывая доверие даже к собственным за-главиям — авторам-субъектам. При всей своей экзистенциальной о-пределенности письмо «опережает» каждого пишущего, оно «говорит через него», оно «творяще» не в меньшей степени, чем «творимо»: именно с помощью «стремления» письма к не-повторимости индивидуальный автор-творец достигает ощущения своей предельной выраженности. Письмо устремлено к настоящему, к пребыванию — здесь... — к этому же стремится и личность, осознающая свой распад в распаде времен, обустривающая и унеживающая мир души, ищущая слов для еще не осознанных ощущений, взывающая к словам. И найденное «на случай» слово неизбежно недостаточно, остается в прошлом, отстает от жизни, спешащей обрести новые слова, чтобы о-со-знать то, что с ней происходит.

Парадоксальная манера мышления и стиля Розанова неотрывна от одной из ведущих тем диалектики XX века: темы соотношения свободы творчества и идеологического — в разных его вариантах — порабощения, что в свою очередь неразделимо с проблемой бытия человека. Образ письма — образ человека... — вскрываемая Розановым «беззаконность стихий» есть выход в более объемное простран-ство-время понимания.

Развертывание письма, ускользающего от за-печатления, с-численности, с-черчивания и в то же время устойчивого в самом себе, «старого в новом и нового в старом» — не выливается в дурную бес-конечность изменений: предел полагается самим миром, полом, телесностью, со-гласной или не-со-гласной с правилом-словом. Тайна мира и воскресения, верил Розанов, скрыта в единстве онтологически-космического и человечески-морального: «...Зерно — о, как оно морально. Зерно — ноумен не только онтологии, но и морали». «Шалости» в морали губельны для человечества — онтологически неприемлемы — ибо «солнце видит и земля слушает». «Ты проклял свою землю, и земля прокляла тебя. Вот нигилизм и

его формула. И солнышко не светит на черного человека. Черный человек ему не нужен»<sup>32</sup>.

Розанов был далек от какой-либо «модели гуманизма», всегда способного превратиться в ложный догмат. Не принимал он и примитивно-материалистической формулы жизни. Христианство?.. — оно, говорил Г. П. Федотов, парализовано в массах, но живет в личностях. Наверно, эта мысль близка мироощущению Розанова, более всего ценившего личный — пусть неприметный — подвиг жизнестроения.

Свидетельства Розанова об апокалипсисе дней начала века многое проясняют в нынешнем времени: знамения совпадают... Современники, усталым взглядом усталых людей всматривающиеся в картины времен, может быть, задумаются о вере, неотделимой от инстинкта жизни.

<sup>1</sup> См.: *Розанов В. В.* О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как целого знания. — М., 1886. С. 736.

<sup>2</sup> См.: Э. Г. О «двуликом» // *Вестник литературы.* 1918. № 8. С. 13.

<sup>3</sup> *Розанов В. В.* Около церковных стен. Т. I. — СПб., 1906. С. 289.

<sup>4</sup> Там же. С. 289.

<sup>5</sup> Там же. С. 290.

<sup>6</sup> Там же. С. 302.

<sup>7</sup> Там же. Т. II. С. 373.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Там же. С. 461.

<sup>10</sup> *Розанов В. В.* Письма к Э. О. Голлербаху // *Стрелец.* Сборник третий и последний. — СПб., 1922. С. 30.

<sup>11</sup> *Розанов В. В.* Апокалипсис нашего времени. — Сергиев Посад. 1917. С. 29.

<sup>12</sup> Там же. С. 30.

<sup>13</sup> См.: *Голлербах Э.* Владимир Соловьев и Розанов // *Стрелец.* Сборник третий и последний. — СПб., 1922. С. 127.

<sup>14</sup> *Платон.* Пир/Соч. в 3-х томах. Т. 2. — М., 1970. С. 112.

<sup>15</sup> См.: *Иваск Ю.* Вступительная статья // *Розанов В. В.* Избранное. — Нью-Йорк. 1956. С. 30.

<sup>16</sup> *Голлербах Э.* Владимир Соловьев и Розанов. С. 135.

<sup>17</sup> См.: Святого Дионисия Ареопагита о небесной иерархии. — М., 1839. С. 38.

<sup>18</sup> *Розанов В. В.* Опавшие листья. Кн. 1. — СПб., 1913. С. 39.

<sup>19</sup> *Голлербах Э.* Владимир Соловьев и Розанов. С. 136.

<sup>20</sup> *Розанов В. В.* В мире неясного и нерешенного. — СПб., 1901. С. 110.

<sup>21</sup> Там же. С. 123.

<sup>22</sup> *Розанов В. В.* Уединенное. — СПб., 1912. С. 169.

<sup>23</sup> *Stammler H. A.* Vasilij Vasilevic Rozanov als Philosoph. Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik. Bd. 5. — Giessen, 1984. S. 17.

<sup>24</sup> См.: *Зеньковский В. В.* История русской философии. Т. 1. — Париж, 1948. С. 462, 463.

<sup>25</sup> Посмертное письмо В. В. Розанова // *Вестник литературы.* 1919. № 5.

<sup>26</sup> См.: А. Евг. О Меньшикове и Розанове // *Вестник литературы.* 1919. № 6. С. 12.

<sup>27</sup> См.: *Флоренский П. А.* Столп и утверждение истины. Т. 1. — М., 1990.

<sup>28</sup> См.: *Каухчишвили Н. П.* А. Флоренский и итальянское Треченто // *Studia Slavica.* Budapest, 1989. Т. 35. 1—2. 51.

<sup>29</sup> Ср.: *Иванов Вячеслав.* По звездам. Опыт философии, эстетическое и критические. — СПб., 1909. С. 28.

<sup>30</sup> *Белый Андрей.* Прошлому // *Андрей Белый.* Соч. Т. 1. — М., 1990. С. 186.

<sup>31</sup> *Розанов В. В.* Опавшие листья // *Розанов В. В.* Сочинения. — Л., 1990. С. 256—257.

<sup>32</sup> *Розанов В. В.* Апокалипсис нашего времени. С. 12.

## ИЗ КОММЕНТАРИЯ

### К ИУДЕЙСКИМ МОТИВАМ В. В. РОЗАНОВА

Розанов сегодня моден. Без ссылок на него уже не обходятся ни политики, ни литераторы. Правда, ссылки эти носят довольно однообразный характер, выбираются они чаще всего из «Уединенного», «Опавших листьев», наконец, из «Апокалипсиса нашего времени» и перетекают из статьи в статью. Взгляд читателя обычно проскальзывает мимо довольно объемных и весьма важных для Розанова рассуждений о разных загадочных вещах...

Мы хотели бы представить читателю попытку комментария (по необходимости краткую) к одному элементу образно-терминологической системы Розанова. В дальнейшем, по мере возможности, этот цикл будет продолжен.

Одной из самых важных работ Розанова, так и не ставшей книгой, является «Юдаизм», напечатанный в 1903 году в журнале «Новый путь». Вряд ли русскому читателю так уж просто понять эту работу. Но без нее трудно двигаться дальше. Не представив себе розановское понимание «юдаизма», трудно освоить и многочисленные вариации иудейских мотивов в творчестве Розанова. Тем более, что к моменту появления этого текста уже существовали его статьи «О древнеегипетской красоте», где (как, впрочем, и в «Юдаизме») делалась попытка поиска египетских корней иудаизма в своеобразной проекции на христианство. Множество дальнейших текстов вплоть до грандиозного замысла «Восточных мотивов» и многочисленных кусочков «Опавших листьев» и т. п. представляют уже сложный синтез всей этой не самой традиционной образности.

Необходимо, правда, учесть, что работа «Юдаизм» и окружающие ее тексты находятся в очень непростых отношениях с реальным иудаизмом. Например, в то время как в иудаизме категорически невозможно даже минимальная примесь крови к пище (тем более ритуальное ее употребление!) в розановском мифе о «юдаизме» оказалось возможным именно это. Так самым простым и очевидным образом перед нами возникает проблема сопоставления «юдаизма» Розанова с подлинным иудаизмом.

Эта проблема тем более важна, что читатель 900—910-х годов вовсе не был лишен сведений об иудаизме. Уже в 1908—1913 годах выходила «Еврейская энциклопедия» изд. Брокгауз—Эфрон, где можно было почерпнуть любые чисто фактические сведения. Кроме того, читатели «Нового пути» уж наверняка владели какими-то европейскими языками настолько, чтобы прочесть при необходимости массу (немецкой хотя бы!) литературы по этому вопросу. Но Розанову этого не требовалось. Во всех своих книгах и статьях об иудаизме он наряду с массой французских и немецких книг по египтологии и нумизматике, сознательно, по-видимому, использует для описания «юдаизма» либо антисемитские сочинения, либо книги крестившихся евреев. Характерно, что в «Семейном вопросе в России» он полностью отдает себе отчет в характере используемого текста: «Я сошлюсь на стр. XVI книги г. Шмакова: «Еврейские речи». Как худшее обвинение, он кидает им хвалу: «и *пирие воровие*, т. е. размножение семьи, поставлено Талмудом на первом плане среди 612 благих дел, *микв\*\**, предписываемых каждому сыну Израиля. Поэтому *тайныгим*, т. е. наслаждения вообще, и в частности *тагимыс гамите*, т. е. амурные отношения, строго обязательны для евреев в шабаш. См. Талмуд, трактат «Шабас». — Так пишет заклятый враг евреев: а кто же выглядит предполагаемое «слабое место» у человека

\* Верно: 613.

\*\* Верно: мицв (возможно, игра слов).



или у народа, как не его враг. Но что для Шмакова — слабость и позор, для другого может быть сила и слава». И вот через десять лет Розанов и Шмаков «заклятый враг евреев» окажутся по одну сторону судебной и общественной баррикады: Шмаков — поверенным гражданской истицы Чеберяк, в знаменитом деле Бейлиса, а Розанов — страстным пропагандистом «кровавого навета» и автором сборника «Об обонятельном и осязательном отношении евреев к крови» (1914).

В дальнейшем взгляды Розанова претерпят еще немало трансформаций, но нас сейчас интересуют две вещи. Розановский «Юдаизм», как кажется, совсем не случайно печатался в «Новом пути» в 1903 году. Произошло это практически одновременно с публикацией там же обширного сочинения Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего бога» (1904). Не вдаваясь в дальнейшие подробности, скажем, что, как кажется, издатели журнала имели в виду попытку воссоздания в самих себе предхристианской ситуации и порождения уже в наше время некоего нового христианства из нового иудео-эллинизма. Розанов и Иванов. «Иудаистическая» же позиция Розанова заявлялась самым решительным образом. Хотя, конечно, разработка этой идеи может представить существенные трудности. Вернемся к «Юдаизму». Приведем один пример дискуссии в журнале «Новый путь» вокруг этой работы Розанова. Вот как Розанов формулирует свое понимание основных ценностей иудаизма: «Ты находишь все вещи, за которые евреи полагали души свои во время гонений — как-то: суббота, обрезание и очистительное погружение — сохранились у них доселе; а те вещи, за которые евреи душ своих не полагали — не сохранились у них, как Храм, суботные и юбилейные годы, суды и проч.»

Этот список заслуживает пристального внимания, т. к. из него с очевидностью следует — сохранилось то, что непосредственно касалось каждого еврея. Ни Храма, ни юбилейных годов, ни — главное, государства, погибшего несколько тысяч лет тому назад, — нет действительно. Правда, из этого не следует, что евреи за все это душу не полагали. Лучшее свидетельство этому — Библия. Но сохранилось неукоснительное выполнение заповедей, касающихся каждого иудея в отдельности и, по возможности, касающееся относительно небольших общин. Характерно, что Розанов совершенно опускает сохранение евреями праздников, молитв, литературы, языка культа. Но это общие слова. А вот конкретика: «Чудо и тайна Израиля, тайна его «обрезания» и «субботы», и «очистительных погружений», о чем упоминает Талмуд, как о вещах, за которые евреи «положили душу свою» — заключается в том, что это, с арийской точки зрения, есть в точности «черная водица», но из «черной этой водицы» изшел Господь наш, и как было сказано еще Аврааму: «о семени твоём благословляются все народы». История Израиля есть история «святого семени: опять против этого не будут спорить комментаторы, которые только не заметили закон святости, условие святости этого семени, в наблюдении и сохранении которого и заключается «штандпункт» иудаизма, особая его на земле миссия».

Но Розанов не был бы Розановым, если бы не заставил своего читателя окупаться во что-то грязное и физиологически отталкивающее. Так, читатель «Юдаизма» должен был прочесть сначала о «черной водице» [!] очищающих [!] омовений, затем воспоминания некоего Литвина о зловонности миквы одновременно с таким рассуждением: «...на протяжении нескольких месяцев, полощась в микве, я — как монета, опущенная в гальвано-пластическую ванну, покрывается налетом невидимо в ней растворенного золота — покрываюсь налетом в сущности каждого, о ком побрежет моя мечта; и выхожу в своеобразной юдаистической позолоте.» (=грязи? — Л. К.).

Кто-то может подумать, что лишь нас удивили представления Розанова об иудейской святости. Может быть, во времена Розанова его рассуждения звучали иначе. Обратимся к статье Антона Крайнего (Зинаиды Гиппиус) в том же «Новом пути», где она полемизировала с Розановым по тому самому вопросу: «... Израиль не понял, что его старый путь приуготовления пройден до конца, — и в этом доньше его мировая трагедия. Израиль, проведший сорок лет в пустыне, искатель Бога, в христианской истории превратился в Дон-Кихота исканий трагического Титана, в вечного добровольного странника, — Вечного Жидя. Древний Иов все еще сидит на смрадном гноище, ропщет прометеевым ропотом, и не хочет сойти. [Здесь особенно забавно, что иудейский пророк, по

воле Гиппиус, ропшет эллинистическим ропотом! Как будто мало иудейских пророков или других героев Библии роптали безо всякого Прометея. — Л. К.] Жидовское гноище, жидовская миква!»

А ведь действительно, когда-то эта липкая грязь была кристальной водой пустыни, поившей землю того вертограда, где должна была вырасти Галлилейская лилия. Но есть законы религии: всякая попытка вернуться к упраздненной святости приводит к извращению религиозного чувства, демонизму и кощунству. Такие попытки всегда [!] были. В самом христианстве всегда был уклон в сторону Израиля: ересь жидовствующих. Теперь настало самое опасное время для усиления этого религиозного недуга. (...) В самом христианстве начинается ропот Иова. Отставшие от пастыря овцы блуждают в древней пустыне, идут утолять жажду в заброшенный колодец, где уже нет воды, а лишь на дне осталась липкая грязь зловонной миквы. Какое отвержение, какое проклятие! Начинается безнадёжная антиэстетика, извращение и ужас, смрад принимается за благоухание, дьявольское — за божеское. Великая религиозная жажда должна быть у Розанова, если он решается утолять ее даже в таком источнике...»

Такова своя позиция Зинаиды Гиппиус. Вот только с реальностью и она сочается слабо. Вряд ли так уж трудно было как Розанову, так и Гиппиус добраться до Санкт-Петербургской синагоги, что за Мариинским театром, и своими глазами увидеть, о чем идет речь, когда евреи говорят о микве\*. Но реальность, видимо, совсем не занимала обновителей российского христианства. Они решали свои непростые духовные проблемы вне всякой связи с «юдаизмом» вообще. Иудей воспринимался ими, по крайней мере в процитированных текстах, как нечто ирреальное. Сама суть этих духовных проблем выходит за пределы нашей темы. Поэтому сейчас мы приведем лишь самые доступные сведения о микве, которые легко мог получить любой российский читатель. Воспользуемся «Еврейской энциклопедией» Брокгауза—Эфрона. Итак: «Правила о приеме омовения в микве.— Все тело человека должно непосредственно соприкасаться с водою и не должно быть никакого средостения между телом и водою. Средостением в этом отношении считается, согласно галлахе, всякий прилипший к телу или к волосам предмет, мешающий воде смочить тело; а если к этому постороннему предмету человек относится брезгливо, например, если это ЗАСОХШАЯ ГРЯЗЬ или КРОВЬ, то предмет считается средостением, хотя бы покрывал только незначительную часть тела. (Эруб., 4б; Сукка, 6б и др.)» (XI, кол. 57). Исключительно для комментария к словам Антона Крайнего о «жидовском гноище» приведем соответствующее место на эту тему: «... вопросы о Микве самым подробным образом разработаны в Талмуде и в позднейших кодификационных трудах. Для очищения от менструации годно всякое естественное скопление воды и вовсе не требуется, чтобы это была ключевая «живая вода», как для очищения гноеточивых. (Лев., 15. 13; Тос. Мег., 1; Тос. Заб. 111)» (Там же. Кол. 56).

Для большей ясности приведем сообщение современной «Краткой еврейской энциклопедии»: «Характерно, что уже в древности уделялось внимание гигиенической стороне обряда омовения в М.: согласно постановлению, приписываемому Эзре, женщины перед омовением в М. должны вымыть голову.../ В ср. века мн. М. служили также банями, в частности, из-за запрета евреям мыться в реках вместе с христианами. В настоящее время при М. есть отдельные кабины с ванной, купанье в которых (наряду с расчесыванием волос, снятием лака с ногтей и т. п.) служит подготовкой для омовения в М., которое предполагает окунание с головой». (V, стлб. 347).

Таким образом, минимальное ознакомление с обрядами иудаизма, тем более при постоянных ссылках Розанова на Талмуд, однозначно свидетельствовало бы об отсутствии повода для столь напряженного философского спора о грязи и святости (= чистоте по Гиппиус). Чем дальше — тем больше становится ясно, что т. н. иудейские, или юданстические, образы суть термины философского спора и мало связаны с реальностью. Такого рода сдвиги характерны и для египетских текстов Розанова; анализ этого явления выходит за пределы нашей статьи. В любом случае необходима столь же внимательная и профессиональная

\* Впрочем, Розанов сделал это во Фридберге («Уединенное»).

критика розановских текстов с иудейской и др. точек зрения, какой уже были подвергнуты взгляды Розанова времен «Темного лика» в православной печати.

Приведем и еще один достаточно тонкий пример. Так, среди утверждений Розанова находим и сообщение об отсутствии у евреев его времени т. н. «субботного», или «юбилейного», года, т. е. времени, когда раз в 7 или 49 (7 на 7) лет запрещается, в частности, обработка земли. Однако реальность в очередной раз свидетельствует об обратном. Не забудем, что все подобные правила касаются не просто обрабатываемой земли, но Земли Обетованной. В 1888 году среди русских раввинов возник серьезный талмудический спор относительно возможности «разрешения обработки земель в евр. с-х. поселениях в Эрец-Исраэль в субботный год 1889» (Кр. евр. энц. V, кол. 399).

Примеры можно множить, но делать мы это не будем, так как само «юдаистическое» словоупотребление Розанова заслуживает подробного и непростого анализа. Постоянные ссылки на существование какой-то неразрешимой двойственности розановского писательства-философствования закрывают самый ясный, как нам представляется, путь постижения его творчества. Куда целесообразней в каждом отдельном случае проанализировать как фактическую сторону, так и контекст соответствующего словоупотребления Розанова. Лишь тогда мы поймем, как и почему кажущееся иудефильство плавно переходит в обсуждение наветов, которые никакой добросовестный христианин и обсуждать не будет.

Конечно, мы отдаем себе отчет, что далеко не все соответствующие тексты Розанова опубликованы, может быть, далеко не все и уцелели, но это ни в коей мере не позволяет пренебречь позитивным изучением того, что сохранило нам немилосердное время. При этом необходимо, чтобы обе стороны — и иудейская, и христианская — сохраняли достоинство как свое, так и другой стороны.

\* \* \*

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЙ К СТАТЬЕ С. Н. ДУРЫЛИНА

<sup>3</sup> Испанец изменил ей.

<sup>4</sup> Вот, что о ней пишет тот же Долинин, к чести его сказать: «Критика школы символистов (Мережковский, Лев Шестов, Вольтинский, Вяч. Иванов и их ученики) только углубляет и расширяет те основные положения о Достоевском, которые впервые были высказаны Розановым в его замечательной работе «Легенда о великом инквизиторе» (СПб., 1893. С. 173).

<sup>5</sup> Доктору, утешавшему ее после одной операции, что она будет «иметь детей», она ответила, что это ее «ничуть не утешает». «Почему же?» «Потому что я не умею их воспитывать» (с. 121).

О. А. КАЗНИНА

## В. В. РОЗАНОВ ГЛАЗАМИ Д. Г. ЛОУРЕНСА

В 1927 году в Лондоне вышла переведенная на английский книга В. В. Розанова «Уединеннос», а два года спустя — «Опавшие листья». На оба издания отозвался Д. Г. Лоуренс, к тому времени автор пользовавшихся мировой известностью романов «Сыновья и любовники» (1913), «Радуга» (1915), «Влюбленные женщины» (1920). Лоуренс не случайно обратил внимание на Розанова: он давно и глубоко интересовался русской литературой, а в Розанове встретил писателя, поднимавшего близкие ему проблемы: освобождение природных устремлений человека от форм жизни и представлений, навязанных цивилизацией, возвращение к языческому видению мира.

Лоуренса познакомил с Розановым С. Котелянский, эмигрант из России, с которым писателя связывали дружеские и творческие отношения. В сотворчестве с Котелянским Лоуренс, шлифовавший его переводы, опубликовал «Апофеоз беспочвенности» Л. Шестова, рассказ И. Бунина «Господин из Сан-Франциско», воспоминания М. Горького о Леониде Андрееве. Переводы Розанова, как и Шестова, увидели свет благодаря издательским связям и настойчивости Лоуренса. Поскольку их выпуск не сулил прибыли ни издателям, ни переводчику, он отказывался от своих гонораров в пользу Котелянского.

Перевод «Уединенного» Лоуренс получил от Котелянского в середине апреля 1927 г., вернувшись во Флоренцию из долгого путешествия по Италии. «Кажется, это захватывающая книга, — писал он Котелянскому, — я прочту ее как только приду в себя». Две недели спустя Лоуренс сообщил, что прочел книгу и написал о ней рецензию. «Я рад, что у меня есть Розанов, герои Чехова и Достоевского мне изрядно надоели...»

Английское издание «Уединенного» гораздо шире своего названия: оно включает значительную часть «Апокалипсиса нашего времени», критико-биографический очерк Э. Голлербаха с цитатами из разных сочинений Розанова, а также его письма. Перед Лоуренсом предстал почти непере译имый русский автор в самых разных своих проявлениях. Оценка Лоуренса двойственна: он не принял Розанова как последователя Достоевского, но признал гениальность его философии, его открытие полнокровного языческого мироощущения, его взгляд на человека как на часть природы с ее стихийными ритмами.

На Розанова Лоуренс в значительной мере перенес свое отношение к Достоевскому, отношение мучительно противоречивое, в котором восхищение смешано с неприятием. Все то, что он не принимал в Достоевском, Лоуренс объединял понятием «русскость». «Русскость» означала для него нарочитую противоречивость мыслей и желаний, самокопание, экзальтированность, подчеркнутый нигилизм, жажду страдания и раскаяния, доводящую до самоуничтожения. Все эти «пороки» он нашел и у Розанова и большую часть — примерно половину —

своей рецензии посвятил «разоблачению» «русскости», которой долгое время были порождены английские читатели, и, может быть, сам Лоуренс.

Тон рецензии меняется, когда Лоуренс переходит к «Апокалипсису нашего времени». В этом произведении, отмечает английский писатель, Розанов заговорил своим голосом и показал себя подлинным мыслителем. Розановское видение мира Лоуренс назвал «фаллическим видением», впервые употребив здесь это выражение, которое впоследствии встречается в его письмах и эссе. Части «Апокалипсиса», вдохновившие Лоуренса, — «Надавило шкафом» и «О страстях мира». В первой из них Розанов пишет о «стонушей цивилизации», раздавленной грузом книжной мудрости. Здесь же — философское размышление о бабочке, которая рождается в коконе умершей гусеницы. Автор задумывается о сходстве кокона гусеницы с египетской мумией и о той роли, которую мумия, пирамиды и обряд погребения играют в египетской религии воскресения. Вспоминается зерно, которое должно умереть, чтобы потом «восстать из гроба» под лучами весеннего солнца.

Эти темы и символы, которыми заменяются у Розанова длинные философские рассуждения, чрезвычайно близки Лоуренсу, хотя в его рецензиях признание этой близости выражено только самим выбором высказываний. Совпадения мыслей, ощущений и высказываний у Лоуренса и Розанова — представителей двух совершенно разных культур и мироощущений — может быть и чисто внешним, и обманчивым, но иногда они поразительны. Так, например, закончив роман «Сынвья и любовники», Лоуренс писал Э. Коллингзу: «Моя религия — это вера в кровь и плоть, в то, что они мудрее нашего рассудка. Рассудок может ошибаться. Но то, что чувствует кровь, то, во что она верит, то, что она говорит, — всегда истинно». А у Розанова есть такое: «„Дела плоти“ суть главное, а „дела духа“ — так, одни разговоры». «„Дела плоти“ и суть космогония...» „Пути физиологии суть пути космические“.

Удивительно близки к Розанову и другие высказывания Лоуренса, хотя о влиянии здесь не может идти речи:

«Они хотят навязать мне форму: то есть они хотят, чтобы я принял их порочную, закоinselую, скрывающую форму — а я не хочу».

«Мы все словно зачумлены литературой». Или: «Логос, который когда-то дышал весенней свежестью и вдохновлял людей, сегодня душит их, как удав Лаокоона».

«Что касается морали — то тут я в полной растерянности».

«Каждый должен быть художником в жизни, создавая собственную мораль. Искусство жизни гораздо сложнее искусства слова».

«Смысл жизни в том, чтобы жить — цвести, проявляться, обретать себя, становиться законом самому себе».

«Единственный путь к подлинному бытию — и для мужчины, и для женщины — любовь. Только в ней человек достигает полноты».

«Я не могу сидеть в этом мире без женщины за спиной».

«Не истощай себя работой, — пишет он другу, — это безнравственно, потому что слишком просто. Работа — бегство от нашего главного долга — жить».

«Жить — дело гораздо более серьезное, чем абстрактно мыслить».

Однако после знакомства Лоуренса с книгами Розанова можно уже говорить не просто о совпадениях высказываний двух столь разных писателей, но, может быть, даже уже о воздействии на Лоуренса русского философа. Вскоре после чтения «Уединенного» весной, а затем осенью 1927 г. Лоуренс перерабатывает первоначальный вариант романа «Любовник леди Четтерлей». В письме Котелянскому от 23.12.1927 он называет новый вариант своего романа «декларацией фаллической реальности» и высказывает уверенность, что его не напечатает ни один английский издатель. Другому корреспонденту Лоуренс писал (13.3.1928): «Я чувствую, как важно отстаивать истину фаллической реальности в борьбе с иллюзиями рассудка. Думаю, что фаллическое сознание — это часть полнокровного мироощущения, к обретению которого надо стремиться. Для меня это — самая важная часть». Свой роман он называет в этом письме «фаллическим».

К началу января 1928 г. Лоуренс закончил третий вариант «Леди Четтерлей», о котором писал Максиму Морю: «В этом романе рассудочному сознанию противопоставляется фаллическое». Тому же корреспонденту он пишет из Италии

22.3.1928: «Помните, Вы как-то сказали, что Розанов неправ, считая пол новым великим освободителем. А я думаю, что Розанов говорит не просто о поле, а шире — о фаллической энергии и сознании. Нельзя не видеть, что в наши дни пол стал совершенно расщудочным: на физический процесс проецируются расщудочные представления. А это отвратительно. Фаллическая реальность — это и есть свободное сознание и жизненный импульс, в котором и заключается великое спасение» (Письма в 2 т. Т. 2. С. 1047—1048).

С апреля 1927 г. по июль 1928 г. Лоуренс работает над повестью-притчей «Человек, который умер». В 1929 г. он пишет одно из своих лучших эссе «А Pporos «Леди Четтерлей», а также эссе «О порнографии и непристойности». В том же году начинает большое философско-мифологическое эссе «Апокалипсис» (выросшее из его комментариев к книге Ф. Картера «Апокалиптические образы», а также к другим сочинениям на тему Апокалипсиса).

В письме Поллингеру от 7 января 1929 г. Лоуренс пишет, что свою повесть «Человек, который умер», он считает одним из своих лучших произведений. В развитии сюжета этой повести, несомненно, есть отголоски «Апокалипсиса» Розанова — тех его отрывков, которые так высоко оценил Лоуренс. У Розанова раскрывается связь между жизнью и священной тайной брака, тайной рождения и солнцем. Повесть Лоуренса начинается с того, что Христос просыпается в своей могиле и с усилием освобождается от своих погребальных одежд, как бабочка высвобождается из кокона. Воскресший окончательно возвращается к жизни под лучами весеннего солнца, как зерно оживает под действием солнца.

В том же письме Поллингеру Лоуренс пишет: «Церковная доктрина учит о воскресении тела, но не означает ли это воскресение всего человека? А весь человек — это мужчина и женщина...» (Письма в 2 т. Т. 2. С. 1115). Возвратившись к жизни, Христос у Лоуренса проходит посвящение в таинство брака. Христос Лоуренса освящает законы природы и жизни своим участием в ее главной мистерии, он становится отцом, рождает нового человека. Конечно это анти-евангельский Христос, и вся повесть — выражение анти-христианских, языческих представлений.

Как в этой повести, так и в философском эссе «Апокалипсис», Лоуренс как бы сбрасывает груз толкований и комментариев к священным книгам. «Апокалипсис» оказался последней книгой Лоуренса, и в ней он строит свою философию на древних мифах и символах.

Лоуренс показывает, как языческие мифы, представления о мужском и женском начале, о рождении, смерти и воскресении были переосмыслены в библейской космологии и насколько глубже и вернее эти представления, чем их более поздние интерпретации. Великая Мать древнего космоса, в солнечном одеянии, со звездами в короне, в христианскую эпоху была представлена как Вавилонская блудница. Вместо Жены и Матери язычества в христианских мифах, считает Лоуренс, появляются либо девственницы, либо блудницы. Отношение христиан к Вавилонской блуднице, по Лоуренсу, — выражение не только ненависти, но зависти: «Как бы они хотели испытать из ее золотого кубка чувственного наслаждения: хотели бы, но не могут, оттого и жаждут разрушить это видение!» (Apopalypse, 1932, p. 163—4).

В эссе «А Pporos «Леди Четтерлей» Лоуренс пользуется понятиями, которые представляют собой как бы английский перевод понятий Розанова. Лоуренс пишет, что его главная задача «воскресить брак», «таинство брака», «возвратить браку истинное место в жизни. Истинный брак для него неразрывно связан с истинной религией и церковью, в таком браке он видит главную связующую основу христианского общества.

Интересно совпадение у Лоуренса и Розанова символа феникса — птицы, сгорающей в огне и вечно воскресающей: «Любовь — это феникс», — пишет Розанов в своем «Апокалипсисе». Для Лоуренса эта птица всегда была его эмблемой: изображения феникса помещал он в начале своих рукописей. «Фениксом» названо посмертное издание его несобранных и неопубликованных сочинений, среди которых нашли место и его отзывы о Розанове.

И все же о влиянии Розанова на Лоуренса надо говорить с большой осторожностью: Лоуренс принимал только то, что совпадало с его собственными интересами и исканиями, он видел в Розанове то, что хотел видеть и в своих рецензиях больше говорит о своих взглядах, чем объясняет Розанова. Кроме

того, почти всем рецензиям Лоуренса свойственна агрессивная полемичность. Он нередко отрицает у другого автора то, что сам утверждает в своих произведениях. Подобно Розанову, Лоуренс очень противоречив и нетерпим к установившимся суждениям, даже если они — его собственные. Но главное — за Розановым и Лоуренсом стоят совершенно разные культурные традиции: за Розановым — русский идеализм и Достоевский, за Лоуренсом — европейский гуманизм и рационализм, викторианская литература Англии. «Русскость» Розанова была непереводаема для Лоуренса ни в языковом, ни в культурно-психологическом отношении. У них разное «коллективное бессознательное». Однако разными путями русский и английский писатели возвращались к языческим представлениям о человеческой плоти, ее связи с космосом, к признанию зависимости человека от природных ритмов, объединяющих все живое. Они оба восстанавливали в правах природные устремления человека, пытались найти гармонию между ними и нравственными достижениями христианской цивилизации. В том, как по-разному они искали общую цель, сказалось различие русской и западноевропейской культуры.

Д. Г. ЛОУРЕНС

## „УЕДИНЕННОЕ“ В. В. РОЗАНОВА\*

На обложке этой книги нам сообщают мнение князя Мирского<sup>1</sup> о Розанове как об одном из гениальнейших русских людей нашего времени, как о величайшем проявлении русского духа, с которым предстоит познакомиться Западу.

Столь высокие оценки приводят нас в замешательство. И даже прочитав длинный «Критико-биографический очерк» Э. Голлербаха, занимающий 43 страницы, мы не избавляемся от своих сомнений, несмотря на то, что в нем приводятся глубокие, иногда просто потрясающие высказывания из «Уединенного» и «Опавших листьев». И все же, такое впечатление, что перед нами снова болезненно погруженный в самосозерцание русский человек, распинающийся в своем благоговении перед Иисусом, что не мешает ему тут же восстать и плюнуть Ему в бороду или хотя бы в спину. С такими персонажами нас уже познакомил Достоевский, и они успели нам надоесть. Раздвоенные личности с религиозностью беспризорников, они копаются в своем грязном белье и в своих грязноватых душах: таких героев мы видели более чем достаточно. Их внутренние противоречия не так уж загадочны и совсем не поучительны. Пока они чувствуют свою силу, в них клокочет ненависть к цивилизации, к Европе, христианству, правительствам и ко всему прочему; когда неизбежно силы иссякают, они раскаиваются: стонут, унижаются, ищут самых немислимых унижений, считая, что так они приближаются к Христу; а в это же время левой рукой они делают грязные и подлые делишки, и все это называется мистической противоречивостью человеческой души. На самом деле это только

---

\* (Рецензия впервые опубликована в Calendar of Modern Letters, July, 1927, № IV, pp. 157—161.)

самовозбуждение, и это утомляет. Сколько можно повторять, что «Легенда о Великом Инквизиторе» Достоевского — это «самое глубокое объяснение человека и жизни, из всех существующих». По-моему, чем больше человека занимает собственная персона, тем он менее интересен для других. Чем больше Достоевский возбуждается идеей трагизма человеческой души, тем быстрее я теряю к нему интерес. Три раза прочитав «Легенду», я никогда не могу вспомнить, о чем она. Это не хвастовство, а простое признание факта. Мне всякий раз кажется, что тут, как говорят немцы, много шума из ничего.

В Розанове мы узнаем, кажется, еще одну птицу из стаи Достоевского. «Уединенное» — написано в философском жанре, не чуждом русской литературе, книга из ста страниц состоит из фрагментов мыслей, которые автор записывал там, где они осенили его: на извозчике, в вагоне поезда, в ватерклозете, запись могла появиться на подошве домашней туфли во время купания. Кажется, что мысль, пришедшая в дороге, могла точно так же возникнуть в клозете или «за нумизматикой», так что не все ли равно? Если уж Розанову хотелось представить реальные обстоятельства, следовало их более детально разработать. Сами по себе подписи «на извозчике» или «за нумизматикой» ничего не говорят.

И вот перед нами множество фрагментов, собранных за 1910—1911 гг., некоторые из них интересны, другие — не очень. Многие из них можно было бы собрать под общим девизом: «С Христом — или без Христа!», если позволительно пародировать гамлетовское «быть или не быть» (это была бы пародия чисто русского свойства). Есть среди фрагментов штрихи к портрету самого автора. Например: «В вас *мужского* только... брюки...», — сказала Розанову одна юная особа. Наверно, это не совсем точно, так стоило ли приводить это наблюдение? Но что делать — самоанализ существенная черта этого произведения. Вот еще о себе, о своем учительстве: «Форма: а я бесформен. Порядок и система: а я бессистемен и даже беспорядочен. Долг: а мне всякий долг казался в тайне души комичным и со всяким «долгом» мне в тайне души хотелось устроить «каверзу», «водевиль» (кроме трагического долга)» (Э. Голлербах, со слов З. Гиппиус, с. 13).

Вот где слышится Достоевский, вернее его так называемый нигилист, у которого на поверхности совсем не то, что внутри. Такого рода противоречивость довольно скучна, и когда это прирожденное свойство, и когда это поза. Под этими парадоксами кроется банальное желание «быть хорошим»: «Я хороший! Я очень хороший! Я самый лучший. Я почитаю Иисуса и всех святых, и больше всех Пресвятую Деву! Я преклоняюсь перед чистотой!» и тому подобное.

Достоевский приучил нас к таким вещам, и нас уже на это не возьмешь. Бедный Вольтер, он тоже раскаивался, но только раз, когда силы совсем оставили его и он пребывал между жизнью и смертью. А вот русские постоянно находятся между жизнью и смертью, они всегда, неизменно на смертном одре.



Когда Розанов говорит о «милых физиономиях» и «милых душах» детей, или о том, как два года он был «в Пасхе», «в звоне колоколов», «воистину «облеченный в белую одежду», — меня обдает холодом и я становлюсь непроницаемым. Для меня все это остывшая яичница.

Но есть в «Уединенном» и глубокие мысли: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали»; «Попробуйте распять Солнце. И вы увидите — который Бог» — и многое другое. Озарения самознания не столь интересны, в них есть оттенок актерства и даже кривляния. На меня это уже не действует.

К концу критико-биографического очерка Голлербаха мне уже претит выставленная напоказ неряшливость. Такое же чувство возникает при чтении последних страниц «Уединенного», хотя нередко Розанов бросает поразительные наблюдения, забывает гвоздь по самую шляпку.

За «Уединенным» в этом издании следует 20 страниц другого сочинения Розанова — «Апокалипсис нашего времени». Тон здесь резко меняется, и вы попадаете в совсем другую атмосферу. «Апокалипсис» несравненно глубже, чем «Уединенное», и было бы гораздо лучше, если бы именно его мы прочли полностью. Только здесь можно понять, что Розанов был действительно мыслитель, что он действительно «величайшее проявление русского духа, которое предстоит открыть Западу».

Розанов раскрывает в себе нечто подлинное, и ему веришь, когда он пишет: «чувства *преступности* (как у Достоевского) у меня не было». Да, в нем нет скрытой склонности к преступлению. Он может проявиться как цельная и глубокая личность, как провидец и как пророк. Таков он в «Апокалипсисе». Здесь он уже не поет с голоса Достоевского. Он сам по себе, и это его собственная русскость говорит в нем.

Книга — выпад против христианства, о чем заявляет сам автор, в ней нет ни лицемерия, ни покаяния. В ней есть страсть, притом страсть неожиданно сильная. Лавирование, самоанализ, разоблачения — все ушло, и звучит подлинная страсть. Розанов своими путями заново открывает исконное языческое мировосприятие, фаллизм; глазами язычника, с ужасом и изумлением он смотрит на дела христианские.

Впервые русский писатель дает нам полнокровную картину мира; ни Толстой, ни Достоевский и никто другой из них не дал нам этого. Кажется, в Розанове проснулся язычник древней Руси, русский Рип ван Винкль, — и потрясенно смотрит на мир. Жирная и плодородная почва язычества, фаллического язычества вскормила Розанова. Но перед его взором — измученная собственной сложностью цивилизация христианства — конечно, в его глазах это какой-то кошмар.

И вот перед нами первый русский, который сказал нечто совершенно новое, для меня это именно так. Его отношение к миру полно живой и полнокровной страсти. Он первый понял, что бессмертие — в полноте проявления жизни, а не в избавлении от нее.

Эту тайну открыла ему бабочка, рождающаяся из кокона мертвой гусеницы, а он открыл ее нам.

Когда Розанов бодрствует, это новый, переживший воскресение человек, язычник, восставший из гроба, и в этом величие Розанова как пророка. Может быть, он и прав, когда говорит, что он — первый русский на земле. Размышляя о Толстом, Леонтьеве, Достоевском, Розанов пишет: «Я говорю прямо то, о чем они не смели и догадываться. Говорю, потому, что я все-таки более их мыслитель» («О понимании»). Вот и все.

Но дело идет (и *шло* у Достоевского и К. Леонтьева) именно об антихристианстве, о победе самой *сути* его, этого ужасного авит'ализма: когда из него-то, из фалла — все и проистекает...»

В таком настроении Розанов не раздваивается, не противоречит самому себе. Он — воплощенная цельность. Его представления и страсти едины, между ними нет трагического разлада.

Но вот он возвращается к русским вопросам и снова раздваивается. Как только он задумывается о себе, о личном, он становится немного смешным, или жалким, иногда слишком навязчивым и почти всегда — противоречивым. О, как им нравятся их двойственность, их внутренняя противоречивость, как они насквозь пропитаны Достоевским, эти русские! Двойственность, как и парадоксальность, им просто необходимы. «Иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит как и в юные беспорочные годы».

На это можно ответить, что Сodom и культ Мадонны — две фазы движения маятника: от возжеления к аскетизму, от благочестия к порнографии. Если вы не жаждете благочестия, вам не понадобится и порнография, и наоборот. Где нет святых, там нет и грешников, там нет надобности в разделении на монахов и мирян. Попробуйте разделить душу человека на две части — темную и светлую. Само по себе это разделение уже пагубно. Увлечение одной крайностью неизбежно сменится отливом в противоположном направлении. Поклонение Пречистой Деве неизбежно сменится разгулом страстей, после чего произойдет возвращение к Пречистой — и так до бесконечности. И не устройство души тому виной. Источник этого порока — в трусливом, разлагающемся человеческом рассудке, который постоянно ищет уклонения от своего центра.

Розанов, когда он не пытается быть слишком русским, — единственный, кто это понял и решил хоть в какой-то мере вернуть человеку его былую цельность.

Поэтом, безусловно, книга Розанова чрезвычайно интересна и нужна. Хотя мы изрядно устали от русского мироощущения, все же предисловие Голлербаха и приведенные в конце книги письма дают важный человеческий материал для понимания Розанова. Может быть, это и не так уж существенно, что он был за человек. В нем, конечно, есть какое-то извращение, но не такое, как у Достоевско-

го, так что когда он пишет, что он «рожден не ладно», то это скорее всего только перепевы из Достоевского.

У Розанова есть свой голос, голос нового человека, ушедшего от Достоевского — и это главное. Это очень много значит. Подождем полного перевода «Апокалипсиса нашего времени» и «Восточных мотивов». Розанов скажет свое слово и сейчас, и в будущем.

Д. Г. ЛОУРЕНС

## „ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ“ В. В. РОЗАНОВА\*

Розанов в наши дни начинает приобретать европейскую известность. Появился французский перевод, обещан немецкий; молодые писатели Парижа и Берлина говорят о нем как об одном из пророков истины. При этом «Уединенное» пользуется несколько большим успехом, чем «Опавшие листья»: наверно потому, что в нем была сенсация. «Опавшие листья» менее сенсационны: это печальная и умиротворенная, глубоко русская книга.

Книга была написана, видимо, около 1912 г., незадолго до смерти автора<sup>2</sup>. Для западного читателя Розанов — последний русский писатель. Русские новой эпохи совершенно иные.

Действительно Розанов, писавший после Чехова, — последний русский писатель. У него подлинно русский голос, и сегодня это особенно очевидно. Арцыбашев, Горький, Мережковский — его современники, но все они стоят несколько в стороне от традиции. И только Розанов стоит на самой магистрали.

Первым браком он был женат на бывшей любовнице Достоевского: родство с ним заметно и в литературных устремлениях Розанова. Отсветы Достоевского слились у него в устойчивый, ровный свет, он приобрел самостоятельность и признание. Хотя в отношении к нему сохраняется настороженность. Дело в том, что раньше, до того, как он пережил переворот и стал правоверным, хотя и вечно подозреваемым в измене консерватором, он бессовестно и изощренно лгал. Может быть, думают, он и теперь лжет — кто знает? Но нет, «Уединенное» и «Опавшие листья» — не ложь или не в такой степени ложь, как многие гораздо более оцененные и признанные книги.

«Опавшие листья» представляют собой фрагменты размышлений, обрывки мыслей, записанных где придется и на чем придется.

---

\* D. H. Lawrence, рецензия на издание *Fallen Leaves, by V. V. Rozanov, Translated from the Russian by S. S. Koteliansky, with a foreword by James Stephens, London 1929.* Рецензия впервые опубликована в: *Everyman, 23 January 1930.* Перевод по тексту издания: *D. H. Lawrence, Phoenix. The Posthumous Papers of D. H. Lawrence, London, 1936, pp. 388—392.*

Насколько это существенно — где и на чем, не ясно, но автору почему-то необходимо постоянно напоминать читателю о своем реальном окружении: «ночью», «за нумизматикой», «на извозчике», «в ват...» — подобными подписями сопровождается каждый фрагмент. Наверно, он таким образом хотел избежать даже видимости какой-либо систематизации или абстрактного философствования. Как бы то ни было, это очень по-русски, и сделано сознательно, с намерением удерживать читателя — и самого автора — в атмосфере момента, напомнить о реальном времени и месте. Розанов пишет, что новое в «Уединенном» — *тон*, тон манускриптов. Этот тон совершенно новый за все века книгопечатания, потому что люди индивидуальны «в лице и «почерках»», и рукопись попадает к читателю непосредственно от писавшего. Он сам раскрывает секрет своего писания: «Тут, в конце концов, та тайна (граничащая с безумием), что я сам с собой говорю: настолько постоянно, и внимательно, и *страстно*, что вообще, кроме этого, ничего не слышу».

Описание точно: Розанов наверно искренен с самим собой. По большей части ему удается удерживаться от актерства перед самим собой. Конечно, самосознание ему присуще, он от этого не отказывается и даже пытается предельно обнажить его перед собой и перед Богом. «Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие: не смотреться в зеркало». Для профессионального лжеца это честная и искренняя молитва. «Я невестуюсь перед всем миром: вот откуда постоянное волнение». «Писателю необходимо подавить в себе писателя («писательство», литературщину)».

Он все время говорит о своей ненависти к литературе, которая отравила его жизнь, из-за которой, как он чувствовал, он не живет, а только литераторствует. «Как *самые счастливые* минуты в жизни, припоминаются те, когда я видел (слушал) людей счастливыми. Стаха и Алек. Пет. П-ва, рассказ «друга» о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей жизни). Из этого я заключаю, что был рожден созерцателем, а не деятелем». Вот где его драма: он чувствовал, что только созерцает жизнь, вместо того, чтобы участвовать в ней. Он переживал это как унижение, и в более ранние годы он бунтовал. Он вел себя, как актер на сцене жизни. И это выходило даже слишком театрально: и его «ложь», и его «зло» были надуманны. Но в конце концов он становился и лжецом, и злодеем, потому что и притворство, и коварство независимо от того — поза это или потребность души — приносят дурные плоды. Эта жизненная позиция не давала ему удовлетворения. Он никогда не чувствовал себя настоящим злодеем. Он только бунтовал, как Ставрогины, как Иваны Карамазовы Достоевского. Вечно бунтовать, вечно *изображать* чувства, которых он не испытывал — главная задача русского писателя, даже если он Чехов. Слишком чувствительные, переполненные безбрежными чувствами, чересчур добрые или несчастные или чудовищно порочные и циничные — и все это для того, чтобы создать хоть какую-то видимость страстей, которых на самом деле нет. Это так по-русски и это так современно. Почти весь мир таков сегодня.

Розанов перестал бунтовать, стал спокойным и приличным, если не считать коротких истерических припадков, во время которых он безобразно обходился с «другом» или впадал в мелкие «грешки». Насколько человек, лишенный реальных страстей, может любить, он любил свою вторую жену, «друга». Он изо всех сил старался ее любить, и у него это в конце концов получалось. Однако в его любви всегда присутствует оттенок жалости, и она, бедная, наверно очень страдала, как всякая жена чувствительного мужа, который вместо истинно мужских чувств и мужского сопереживания, может предложить только «жалость», сострадание. Розанов сам пишет: «Европейская цивилизация погибнет от сострадательности», и дальше глубоко замечает, что это только «лже-сострадательность», с элементом «излома. Как это по-достоевски: именно лже-сострадательность окрашивает любовь Розанова к жене. Когда он говорит о ней, в его словах часто сквозит ирония. Но как бы он хотел, чтобы ее не было, как бы он хотел испытывать простые чувства. Но не мог. «Сегодня» — не было вовсе у Достоевского, — пишет он, — иными словами, как видно, он хотел сказать, — Достоевский был лишен непосредственных чувств, ему были доступны только «проекции» чувств, которые неизбежно разрушают свой объект — реальное «сегодня», самую суть того, что составляет «сегодня». На глазах у несчастного Розанова его жена умирала от паралича, она была его «сегодня», но его всегда отделяет от нее эта ирония. Он, конечно, страдал, и страдал глубоко. Горе, вызванное болезнью жены, было неподдельным. И на этом опыте он сумел постичь реальность страдания, в котором и была его истинная любовь. Для него это было жизненно важно, потому что нет ничего труднее, чем испытывать подлинные чувства, особенно подлинное сопереживание, когда его источник, как в случае Розанова, давно пересох. Сознвая свою неспособность испытывать подлинные чувства, Розанов всеми силами стремился преодолеть себя и пробиться к реальным эмоциям. Насколько мог, он этого достиг. Страхнув с себя порочность, заимствованную у Достоевского, он к концу жизни постиг подлинность и чистоту страдания. В начале «Опавших листьев» он еще сентиментален и лицемерен до отвращения.

Прекрасны были русские люди былых времен. В эпоху Петра Великого это были здоровые варвары. Внезапно весь запас западных идей, идеалов и изобретений обрушился на их восприимчивые, но не отягощенные образованием головы, в которых новая закваска произвела бурное действие. Из этого брожения возникла литература от Пушкина до Розанова. Но позднее инородная закваска начала свое разрушительное действие в самой основе русской души. Русские словно приняли слишком сильное лекарство, словно им впрыснули слишком большую дозу вакцины. Были задеты центры восприятия и ответного действия, контроль нарушен, энергия тратилась бесцельно, и нация на какое-то время пришла в полный упадок. Слишком внезапный бросок в цивилизацию, как правило, убивает. Сейчас от нее гибнут жители островов Южного

моря, от нее же погибли и русские, более медленно, но более верно. Если идея или идеал слишком сложны для того, чтобы личность или нация могли воспринять их своими чувствами, непосредственно, то влияние этих идей перестает оказывать культурное действие, более того, они становятся опасными, как сильное средство, нарушающее равновесие и взаимодействие в организме.

Розанову это было хорошо известно. К тому, что он пишет о революции и демократии, нечего прибавить<sup>3</sup>. Как и к тому, что он сказал о чиновниках и чиновничестве. Я думаю, если бы в Россию наших дней попал Толстой, он был бы ошеломлен. Но Розанов несколько бы не удивился. Он предвидел случившееся. Его понимание евреев отличает сверхъестественная пронизательность. Его «консерватизм», который сегодня определили бы как фашизм, был только безнадежной попыткой задержать или изменить ход вещей,

Но болезнь уже проникла и в его организм: пути назад не было. Поразительна его заметка о собственной «задумчивости»: «Иногда чувствую что-то чудовищное в себе. И это чудовищное — моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничто не входит.

Я каменный.

А камень — чудовище.

Ибо нужно любить и пламенеть.

От нее мои несчастья в жизни (былая служба), ошибка всего пути (был только «выходя из себя» внимателен к «другу» и ее болям) и «грехи».

В задумчивости я ничего не мог делать.

И с другой стороны, все мог делать («грех»).

Потом грустил: но уже было поздно. Она съела меня и все вокруг меня».

Вот ключ к его жизни: «задумчивость», которая превращает его в камень, делает его бесчувственным, и он ничего не может, и в то же время может все. Эта задумчивость не подчиняется его воле, так же, как его окаменение. Однако то, что он называет задумчивостью и окаменением, окружающие считали, оценивая его поступки, порочностью и злонамеренностью. Вот что получалось. Это было его, особое проклятие.

И вот перед нами последнее слово Русского писателя перед великим крахом. Каждый, кто способен хоть немного понять состояние души Розанова, состояние, в котором он как будто родился, с его жуткой бесчувственностью и окаменением, тот должен глубоко сопереживать его страданию и стремлению вернуть свое подлинное «я», «я» чувствующее, вырваться из своей задумчивости, разбить камень. Насколько ему это удалось — мы можем судить по его книге, по тому, как он славит красоту плодородия и продолжения жизни, по его неожиданным и саморазоблачающим суждениям о Вейнингере. Розанов современен, страшно современен. И если он не может внушить нам страха Божьего, то он вселяет в нас страх перед судьбой, перед роком: перед цивилизацией, которая не внутри нас зреет, а навязывается извне, средствами «образования» и «просвещения».

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Князь *Мирский* — Д. П. Святополк-Мирский (1890—1939) — русский критик и литературовед, после революции 1917 г. эмигрировал из России. С 1922 по 1932 гг. преподавал русскую литературу в Англии. Перу Мирского принадлежат первые оценки Розанова в английской печати. Он писал о Розанове в своих «Русских письмах», опубликованных в английском журнале «The London Mercury» в 1921—1922 гг., а также в своей прекрасной книге по истории русской литературы, вышедшей на английском языке в 1926 г. («Contemporary Russian Literature: 1881—1925»). Его статья о современных течениях в русской литературе с оценкой роли Розанова вошла в сборник статей «Contemporary Movements in European Literature», L., 1928). Мирский считал Розанова «гениальнейшим из людей своего времени» («Версты», Париж, 1927. № 2. С. 247), «величайшим из религиозных философов», «великим реформатором русского языка и стиля наравне с Аввакумом и Толстым». В Розанове Мирский видел воплощение «русскости». Сближая его с Ремизовым, критик подчеркивал, что «Розановы письма» написаны русским и для русского и показались бы абсолютно непонятными иностранцу. Такого же мнения был и С. Коновалов, преподававший русскую литературу в Оксфорде в 30-х годах: «Английский язык и английская форма не допускают ремизовщины и розановщины» (Письмо к Е. Д. Кусковой. ЦГАОР, Ф5865, оп. 1, ед. хр. 278, л. 92, б. г.).

Непереводимостью Розанова значительно осложнилось восприятие Лоуренсом его сочинений. Не зная русского языка, он удивлялся, почему русские писатели так плохо пишут. Его современница В. Вулф догадывалась, почему: в своем эссе «Русская точка зрения» она писала, что в переводе от русского автора не остается ничего, кроме грубо переданного содержания его произведения. Лишаясь в переводе своего стиля, писатель утрачивает индивидуальность, пропадают его интонации, на которых держится смысл слов. Тем не менее, даже то, что остается, производит огромное впечатление, — добавляла она. Не удивительно, что Лоуренс выше оценил «Апокалипсис нашего времени», более доступный переводу.

<sup>2</sup> Перевод «Опавших листьев» Лоуренс получил от Котелянского в декабре 1928 г. В это время он находился в Мюнхене. Принужденный постоянно лечиться от туберкулеза и переезжать с места на место в поисках подходящего климата, Лоуренс был лишен возможности иметь под рукой нужные книги. Ни работ Мирского, ни предыдущего издания Розанова с очерком Голлербаха у него, по всей видимости, не было, когда он писал вторую рецензию. Поэтому он дает такие приблизительные даты жизни и творчества Розанова.

<sup>3</sup> Лоуренс, поначалу ждавший, что русская революция освободит часть человечества от омертвевших форм цивилизации, к концу 20-х годов совершенно разочаровался в русском социальном эксперименте. До него доходили слухи об ужасах советского режима и о том, что коммунисты отменили церковный брак, что было равносильно, по его мнению, разрушению семьи. Если в начале 20-х годов Лоуренс строил планы поездки в Россию, даже собирался изучать русский язык, то к 1926 г. он окончательно отказался от этого замысла.

*Перевод с английского и примечания О. А. Казниной*

# ХРОНИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

И. Л. БЕЛЕНЬКИЙ, И. Е. СЕРЕБРЯНАЯ

## ИЗ БИОБИБЛИОГРАФИИ В. В. РОЗАНОВА

(1917 — 1991 гг.)\*

*Розанов В. В.* Автопортрет Вл. С. Соловьева / Публ. и пред. В. Сукача // Обществ. мысль: исслед. и публ. — М., 1989. Вып. I. С. 234—240.

*Розанов В. А.* С. Пушкин // Дон. 1988. № 6. С. 151—160.

*Розанов В. В.* А. С. Пушкин; О Пушкинской Академии; Кое-что новое о Пушкине; Пушкин и Лермонтов // Пушкин в русской философской критике. — М.: Книга, 1990. С. 161—193.

*Розанов В. В.* Апокалипсис нашего времени. — Сергиев Посад, 1917—1918. Вып. 1—10. То же. — М.: Центр прикл. исслед., 1990. То же/Публ. и прим. А. Николюкина // ЛО. 1990. № 1. С. 88—112; То же (Фрагменты) // ЛР. 1988. № 35. С. 18—19.

*Розанов В. В.* Афоризмы и наблюдения // Учит. газ. 1990. № 4. С. 8.

*Розанов В. В.* Война 1914 года и русское возрождение (Петроград, 1915) // Русская нация и обновление общества. — М., 1990. С. 186—187.

*Розанов В. В.* Еще о смерти Пушкина/Предисл., публ. и примеч. С. Кибальника // Слово. 1990. № 2. С. 22—28.

*Розанов В. В.* Запущенный сад: Гоголь и Петрарка. Из последних листьев. Апокалиптика нашей литературы//Книжный угол. — Пг., 1918, № 3. С. 7—10.

*Розанов В. В.* Из книги «Когда начальство ушло». Отрывки из «Апокалипсиса нашего времени» / Вступ. ст. и публ. Ю. В. Линника // Север. 1989. № 6. С. 102—108.

*Розанов В.* Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине//Домострой. 1992. № 20. С. 8—9.

*Розанов В. В.* Из публицистики 1917 года / Публ. В. Чалмаева // Лепта. 1991. № 5. С. 128—129.

*Розанов В. В.* Историческая роль Столыпина / Предисл. А. Николюкина // НС. 1991. № 3. С. 151—155.

*Розанов В. В.* Католицизм и Россия (Владимир Соловьев «Россия и католицизм»; Пер. с фр. Г. А. Рачинского. — М., 1911) // Религиозно-идеалистическая философия в России XIX — начала XX вв. — М., 1989. С. 127—135.

*Розанов В. В.* Литературная критика/Вступ. ст. С. Ломинадзе. Публ. В. Сукача // ВЛ. 1988. № 4. С. 176—200.

*Розанов В. В.* Люди лунного света: Метафизика христианства. — М.: Дружба народов. 1990 (Репринтное воспроизведение второго изд.: СПб., 1913).

\* Настоящий список охватывает только наиболее значительные публикации за указанный период. Материал, представленный здесь — дополненный вариант раздела «В. В. Розанов» в издании: «История русской философии конца XIX — начала XX вв. В 2-х частях. — М.: ИНИОН РАН, 1992.



- Розанов В.* Максим Горький о самоубийстве / Публ. И. Бочаровой // СБ. 1989. № 10. С. 167—172.
- Розанов В. В.* Место христианства в истории. — М.: Лит. издат. агенство Р. Элмина, 1990.
- Розанов В. В.* Мимолетное // Контекст. 1989. — М., 1989. С. 172—230.
- Розанов В. В.* Мимолетное (Извлечения); Из лекций о Достоевском; Юбилейное издание Добролюбова; Неоценимый ум (К. Н. Леонтьев); Ломоносов: Его личность и ум; Труды М. В. Ломоносова // Опыты. — М., 1990. С. 294—347.
- Розанов В. М.* П. Соловьев и К. П. Победоносцев о бюрократии; Одна из замечательных идей Ф. М. Достоевского // Начала. 1991. № 1. С. 44—65.
- Розанов В. В.* Мысли о литературе / Сост., вступ. ст., коммент. А. Н. Николюкина. — М.: Современник, 1989.
- Розанов В. В.* О благодушии Некрасова // Голос Родины. 1991. № 1. С. 8—9.
- Розанов В. В.* О вере русских / Вступит. ст., публ. и примеч. М. М. Павловой // РЛ. 1991. № 1. С. 104—123.
- Розанов В. В.* О Достоевском // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881—1931 годов. — М.: Книга, 1990. С. 64—73.
- Розанов В. В.* О легенде «Великий инквизитор» // О великом инквизиторе: Достоевский и последующие. — М., 1992. С. 73—183.
- Розанов В. В.* Опавшие листья: Лирико-филос. записки / Сост., вступ. ст. А. В. Гулыги. — М.: Современник, 1992.
- Розанов В. В.* Оптина пустынь / Публ. и предисл. Н. Д. Александрова // ЛО. 1991. № 9. С. 68—74.
- Розанов В. В.* О себе и жизни своей / Сост., предисл., коммент. В. Г. Сукача. — М.: Моск. рабочий. 1990.
- Розанов В. В.* Последние листья // Книжный угол. — Пг., 1919. № 6. С. 6—10.
- Розанов В. В.* Религиозный «эклетицизм» и «синкретизм»: (Из воспоминаний о В. С. Соловьеве) // Религиозно-идеалистическая философия в России XIX—нач. XX в. — М., 1989. С. 114—127.
- Розанов В. В.* Русский Нил / Предисл., публ. и коммент. В. Сукача; Послесл. М. Чудаковой // НМ. 1989. № 7. С. 188—235.
- Розанов В. В.* С вершины тысячелетней пирамиды: Размышления о ходе рус. лит./Предисл. Т. Померанской, А. Налепина//Москва. 1990. № 5. С. 173—184.
- Розанов В. В.* Сахарна / Вступ. ст. В. Сукача // ЛУ. 1989. № 2. С. 79—122.
- Розанов В. В.* Смертное // Наше наследие. 1989. VI. С. 46—57.
- Розанов В. В.* Солнце; Тайственные отношения; Колебания мира // Книжный угол. — Пг., 1918. № 4. С. 5—11.
- Розанов В. В.* Сочинения. — М.: Сов. Россия. 1990.
- Розанов В. В.* Сочинения. — М.: Правда, 1990. (Из истории отеч. филос. мысли). — Прил. к журн. «Вопросы философии». Т. I. Религия и культура / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Е. В. Барабанова. Т. II. Люди лунного света. Уединенное. Опавшие листья (Короб первый). Опавшие листья (Короб второй) / Сост., подгот. текста и примеч. Е. В. Барабанова.
- Розанов В. В.* Сочинения. — Л.: Васильевский остров. 1990.
- Розанов В.* Статьи о театре // Театр. 1990. № 8. С. 120—126.
- Розанов В. В.* Статьи об А. С. Пушкине/Вступ. ст. и публ. А. Налепина//ЛУ. 1988. № 1. С. 102—119.
- Розанов В. В.* Сумерки просвещения /Публ. А. Обертынского // Писатель и время. — М., 1991. С. 320—329.
- Розанов В. В.* Сумерки просвещения / Сост. и послесл. В. Н. Шербакова. — М.: Педагогика, 1990. В сборник включены произведения «Сумерки просвещения» (СПб., 1889); «Среди художников» (СПб., 1914; фрагменты); «Опавшие листья» (Короб I); «Русский Нил» (Фрагменты книги «Сумерки просвещения» (1899) // Наука и религия. 1990. № 7. С. 93—106; Сов. педагогика. 1990. № 8. С. 96—115; Дон. 1989. № 11. С. 169—175).
- Розанов В. В.* Темный лик // Наука и религия. 1990. № 2. С. 46—48; № 3. С. 50—51; № 4. С. 40—41; № 6. С. 38—39; № 7. С. 45—48; № 8. С. 59—61.
- Розанов В. В.* Уединенное / Сост. А. Д. Диденко. — М.: Современник, 1991. — Имен. указ.: С. 104—107.
- Розанов В. В.* Уединенное / Сост., вступ. ст., коммент. и библиогр. А. Н. Николюкина. — М.: Политиздат, 1990. (Мыслители XX в.). — Библиогр.: С. 514—520.

Указ. имен.: С. 522—542. В издание включены книги: «Уединенное» (Пг., 1916); «Опавшие листья» (СПб.; Пг., 1913—1915); «Смертное» (СПб., 1913); «Апокалипсис нашего времени» (Сергиев-Посад, 1917—1918); Статьи. См. также: *Опавшие листья: (Фрагменты) / Послел. А. Синявского // Наше наследие. 1989. № 1. С. 78—94; Опавшие листья (Короб второй) (Фрагменты, изъятые из книги «Мысли о литературе». — М., 1989) // НС. 1990. № 10. С. 122—131 (В связи с публикацией в книге Короба II); Уединенное / Публ. и коммент. В. Фатеева // Волга. 1989. № 6. С. 82—110; № 7. С. 81—100; Опавшие листья // КО. 1989. № 38. С. 6; Уединенное. Опавшие листья // Огонек. 1989. № 9. С. 10—12.*

*Розанов В. В. Философия урожая / Вступ. ст. В. Сукача // ЛУ. 1992. № 1—2—3. С. 112—134.*

*Розанов В. Цель жизни, полная сумрака / Предисл. В. Щербакова // Учит. газ. 1990. № 36. С. 12.*

*Розанов В. В. Эмбрионы / Предисл. и примеч. Н. Казаковой // Юность. 1990. № 11. С. 2—4.*

*Розанов В. В. Письма 1917—1919 годов / Предисл. Е. Ивановой. О последних днях и кончине В. В. Розанова // ЛУ. 1990. № 1. С. 70—88.*

*Розанов В. В. Письма Э. Голлербаху // Лепта. 1991. № 5. С. 139—142.*

\* \* \*

*Из писем В. В. Розанова Э. Голлербаху // Летопись Дома Литераторов. — Пг., 1922. № 8—9. С. 4—5.*

*Из писем В. В. Розанова Э. Ф. Голлербаху // СБ. 1989. № 5. С. 90—91.*

*Неизданные письма В. В. Розанова к К. Н. Леонтьеву / Подгот. текста и коммент. Т. В. Померанской. // ЛУ. 1989. № 6. С. 127—140.*

*Переписка К. Леонтьева и В. Розанова с комментариями В. Розанова (1—21), добавленными при издании отдельной книгой (London, 1981) // ДИ СССР. 1989. № 10. С. 30—33.*

*Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона: 1909—1918. / Вступит. ст., публ. и коммент. В. Проскуриной // НМ. 1991. № 3. С. 215—242.*

*«Распоясанные письма» В. Розанова [Письма В. В. Розанова к З. Н. Гиппиус] / Предисл. и публ. Павловой // ЛУ. 1991. № 11. С. 62—71.*

\* \* \*

*Барабанов Е. В. 75 лет книге В. В. Розанова «Опавшие листья» // Памятные книжные даты. — М., 1990. С. 115—118.*

*Барабанов Е. Сумерки просвещения // Учит. газ. 1990. № 4. С. 8.*

*Бекбосынова Ж. Б. В. В. Розанов о проблеме понимания // РАН. Ин-т философии, 1992. — Рукопись деп. в ИНИОН РАН № 46369 от 2. 04. 92.*

*Бочаров С., Сукач В. Неизвестный Розанов // Опыты. — М., 1990. С. 348—350.*

*Галковский Д. Феномен Розанова // Социум. 1991. № 2. С. 94—102.*

*Гачев Г. Д. Розанов // Русская дума. — М.: 1991. С. 62—67.*

*Гачев Г. Три мыслителя: Леонтьев, Розанов, Пришвин. (Главы из «Русской думы») // Моск. вест. 1990. № 8. С. 197—214.*

*Гиппиус З. Н. Задумчивый странник: О Розанове / Публ. и коммент. А. Н. Николоюкина // Русское литературное зарубежье. — М.: 1991. Вып. I. С. 37—99.*

*Говоруха-Отрок Ю. Н. Рецензия // Домострой. 1991. № 18. С. 12—13. (Рец. на кн.: Розанов В. Сумерки просвещения. — СПб., 1899).*

*Голлербах Э. Владимир Соловьев и Розанов // Стрелец. — Пг., 1922. С. 124—143.*

*Голлербах Э. Розанов: Жизнь и творчество. — Пг.: Вешние воды, 1918. То же: Полярная звезда, 1922.*

*Голлербах Э. Воспоминания о В. В. Розанове // Летопись Дома литераторов. — Пг., 1922. № 8—9. С. 3—4.*

*Гулдыга А. Как мучительно трудно быть русским. (О жизни и творчестве Василия Розанова) // Лепта. 1991. № 5. С. 143—151.*

*Доклад совета и прения по вопросу об отношении <Религиозно-Философского> Общества к деятельности В. В. Розанова (Публ. Е. Ивановой) // НС. 1990. № 10. С. 110—127.*

- Ерофеев В.* Розанов против Гоголя // ВЛ. 1987. № 8. С. 146—175.
- Иванов-Разумник Р. В.* В. Розанов // Иванов-Разумник Р. В. Творчество и критика. — Пг., 1922. С. 145—170.
- Иванова Е.* Об исключении В. В. Розанова из Религиозно-философского общества // НС. 1990. № 10. С. 104—110.
- Иванова Е. В.* Италия — В. В. Розанову. Конгресс, посвященный В. В. Розанову в Италии. Октябрь 1990 г. // Вопросы философии. 1991. № 3. С. 133.
- Иваск Ю.* Розанов // Волга. 1992. № 1. С. 109—111.
- Каган Ю.* О Василии Васильевиче Розанове // Ковчег. — М. — Иерусалим, 1990. С. 344—359.
- Каган Ю.* Путь Розанова // ОН. 1990. № 5. С. 201—212.
- Кувакин В. А.* Василий Васильевич Розанов: «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти» // Вестн. МГУ. Философия. 1989. № 3. С. 43—57.
- Латынина А.* «Во мне происходит разложение литературы...» (В. В. Розанов и его место в литературной борьбе эпохи) // ВЛ. 1975. № 2. С. 169—206.
- Лутохин Д.* Воспоминания о Розанове // Вестн. лит. — Пг., 1921. № 4—5. С. 5—7.
- Михайлов В. В.* Критический анализ антикоммунистической сущности социальной философии В. В. Розанова // Критика современной буржуазной идеологии. — М., 1988. С. 3—16.
- Налепин А.* «Разноцветная душа» Василия Васильевича Розанова // ЛУ. 1988. № 1. С. 115—119.
- Николюкин А.* Последняя книга В. В. Розанова: Из судеб русской интеллигенции в послереволюционные годы // ЛО. 1990. № 1. С. 83—88.
- Николюкин А. Н.* Василий Васильевич Розанов: (Писатель нетрадиц. мышления). — М.: Знание, 1990. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Литература». 1990. № 8).
- Николюкин А. Н.* В. В. Розанов в американской и русской критике // Русская литература в зарубежных исследованиях 1980-х гг. / ИНИОН АН СССР. — М., 1990. С. 22—45.
- Николюкин А. Н.* «Удивительно несвоевременный человек...» В. В. Розанов в русской критике 1910-х гг. // Русская литературная критика начала XX в.: Современный взгляд. — М.: 1991.
- Обертынский А.* Великое отмщение // Писатель и время. — М.: 1991. С. 330—332.
- О В. В. Розанове* (Интервью с В. Г. Сукачом) // Начала. 1991. № 1. С. 33—43.
- Острый О. Е.* Первый библиограф В. В. Розанова // СБ. — М., 1989. № 5. С. 82—85. (Э. Ф. Голлербах).
- Палиевский П.* Василий Васильевич Розанов, 1856—1919 // Писатель и время. — М.: 1991. С. 310—319.
- Палиевский П.* Василий Васильевич Розанов // ЛГ. 1989. № 26. С. 5.
- Палиевский П.* Розанов и Флоренский // ЛУ. 1989. № 11. С. 111—115.
- Пишите, пишите, но без «похвального слова».* Ответы на анкету 1921 г. о творчестве В. В. Розанова / Публ. и предисл. Л. Ильинского // Наше наследие. — М., 1989. № VI. С. 61—63.
- Пишун С. В.* Источники формирования социальных взглядов В. В. Розанова и его отношение к некоторым направлениям общественного движения в России конца XIX века // Уссурийск. гос. пед. ин-т. — Уссурийск, 1989. — Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР.
- Пришвин о Розанове* / Вступ. ст., публ. и примеч. Ю. В. Гришина, Л. А. Рязановой // Контекст. — Л., 1990. С. 161—218. (Из дневников).
- Ремизов А.* Розанов // Ремизов А. Огонь вещей. — М.: 1989. С. 373—380.
- Робакидзе Г.* Василий Розанов // Лит. Грузия. 1988. № 2. С. 128—133.
- Розанова Т. В.* Воспоминания Татьяны Васильевны Розановой об отце — Василии Васильевиче Розанове и всей семье / Вступ. ст., публ. и примеч. Л. А. Ильюшиной, М. М. Павловой // РЛ. 1989. № 3. С. 209—232; № 4. С. 160—178.
- Розанова Т. В.* Из воспоминаний / Вступит. ст. и примеч. А. Н. Богословского // ВЛ. 1990. № 10. С. 207—223.
- Сарнов Б.* Уроки Розанова // Огонек. 1991. № 8. С. 22—26.

- Селивачев А.* Психология юдофильства: В. В. Розанов // Рус. мысль. — М.; Пб., 1917. № 2. Отд. 11. С. 49—64.
- Синявский А.* Из лекций о В. Розанове // ОН. 1990. № 2. С. 174—186.
- Сукач В.* Жизнь Василия Васильевича Розанова как она есть // Москва. 1991. № 10. С. 135—136; № 11. С. 141—153; 1992. № 1. С. 108—131; № 2—4. С. 120—129.
- Троцкий Л. Д.* Мистицизм и канонизация Розанова // Троцкий Л. Д. Литература и революция. — М., 1990. С. 46—49.
- Фатеев В. А.* В. В. Розанов: Жизнь. Творчество. Личность. — Л.: Худож. лит., 1991.
- Ховин В.* Не угодно ли?: Силуэт Розанова; В. В. Розанов и Владимир Маяковский // Ховин В. На одну тему. — Пг., 1921. С. 3—80.
- Цыбин В.* Странствия и блуждания мысли Василия Розанова // ЛР. 1988. № 39. С. 18—19.
- Шестов Л.* В. В. Розанов // Шестов Л. И. Статьи о русской литературе / Вступит. ст. и примеч. В. А. Туниманова // РЛ. 1991. № 3. С. 47—51.
- Шкловский В.* Розанов: Из кн. «Сюжет как явление стиля». — Пг.: Опыаз, 1921.
- Др. изд.: Розанов // Шкловский В. Б. О теории прозы. — Л., 1925. С. 167—178; Розанов // Шкловский В. Б. Гамбургский счет. — М., 1990. С. 120—139.
- Эпштейн М.* Соловьев и Розанов // Экран и сцена. 1991. № 45. С. 15.
- Голлербах Э. Ф.* Библиография: кн. и журн. ст. В. В. Розанова // Голлербах Э. Ф. Жизнь и творчество. — Пг., 1922. С. 99—110.
- То же / Публ. О. С. Острога // СБ. 1989. № 5. С. 86—90.

*Материал подготовлен к печати при участии В. Чекалова*

#### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ

- ВЛ — Вопросы литературы  
 ДИ СССР — Декоративное искусство СССР  
 КО — Книжное обозрение  
 ЛГ — Литературная газета  
 ЛО — Литературное обозрение  
 ЛУ — Литературная учеба  
 ЛР — Литературная Россия  
 НМ — Новый мир  
 НС — Наш современник  
 ОН — Общественные науки  
 РЛ — Русская литература  
 СБ — Советская библиография

## ВОЗРОЖДЕНИЕ РОЗАНОВСКОГО ОБЩЕСТВА

После смерти В. В. Розанова в Петрограде был создан «Розановский кружок», в инициативную группу которого, как сообщал «Вестник литературы» (1921, сентябрь), вошли: А. Белый, А. Волынский, Э. Голлербах, Н. Лернер, В. Ховин. В Москве П. Флоренский стал готовить издание сочинений Розанова.

Однако «Розановский кружок» проработал недолго — осенью 1924 г. он прекратил свое существование. П. А. Флоренскому тоже не удалось выпустить собрание сочинений своего друга. Наступили долгие годы молчания, официального «забвения» Розанова.

В марте 1990 г. в Центральном Доме литераторов на заседании Клуба книголюбов состоялась презентация первой изданной в нашей стране за последние 70 лет книги В. В. Розанова «Мысли о литературе», подготовленной А. Н. Николюкиным и выпущенной издательством «Современник». Тогда же

прозвучало предложение о создании или, вернее, возрождении Розановского общества.

Весной 1991 г. при Философском обществе СССР было учреждено Общество по изучению и изданию наследия В. В. Розанова (председатель — проф. М. А. Маслин). Первое заседание нового Розановского общества состоялось 25 марта 1991 года на философском факультете МГУ и было посвящено обсуждению вышедшей в Политиздате книги В. В. Розанова «Уединенное». Розановское общество выступило организатором научной конференции «Русская философия в XX столетии», проведенной в МГУ в марте 1992 г. В настоящее время Общество готовит к публикации ряд сочинений Розанова, в частности книгу «В темных религиозных лучах», которую писатель по цензурным соображениям разделил на две части («Темный лик» и «Люди лунного света») и опубликовал, исключив из нее 12 глав. Ныне воссоздается полный текст книги.

Розановское общество обращается ко всем, кому дорого имя В. В. Розанова, с предложением принять участие и помочь в работе общества. Обращаться к сопредседателю общества П. П. Апрышко по адресу: 125811, Москва, Миусская пл., 7. Российский гос. инф.-изд. центр «Республика», комн. 212. Тел.: 258-54-69.

*М. А. Маслин,  
председатель Розановского общества.*

---

## «НАЧАЛА»

Религиозно-философский журнал

Редактор *М. С. Винниченко*  
Техн. редактор *Н. Б. Карякина*  
Корректор *А. А. Степанова*

---

Сдано в набор 05.08.92. Подписано в печать 05.11.92. Формат 60 × 90 1/16.  
Бум. тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 6,00.  
Уч.-изд. л. 8,24. Тираж 5000. Зак. 488. С39.

---

Издательство МАИ  
125871, Москва, Волоколамское шоссе, 4.  
Типография издательства МАИ  
125871, Москва, Волоколамское шоссе, 4.